АЗБУКА ВЕРЫ

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович

Переводчица на приисках

Художественная литература · azbyka.ru

Переводчица на приисках – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/perevodchicza-na-priiskah

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Переводчица на приисках

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович

I

— Да-с, Ираида Филатьевна… — говорил низенький сгорбленный старик с опухшим красным лицом. — Все испытал, все перенес, как праведный Иов…[1] Был богат, пользовался почетом, а теперь сир и убог-с.

Старик жестом показал на свою порыжелую заплатанную визитку, на короткие, обросшие шшзу бахромой штаны с выдавшимися протертыми коленками и на старые лапти, которые жалко болтались на его голых ногах. Ираида Филатьевна, коротенькая и толстая женщина лет сорока, с маленькими голубыми глазками и широким чувственным ртом, только пыхнула в ответ синим дымом сигары, которую курила, и немного хриплым голосом небрежно проговорила:

— Ну, а дальше?..

Старик посмотрел на свою собеседницу мутными, слезившимися глазами записного пьяницы, покрутил головой и улыбнулся рассеянной, полупьяной улыбкой. Он только теперь обратил внимание на мужской костюм Ираиды Филатьевны, которая была одета в черные бархатные шаровары, в красную канаусовую[2] рубашку и щегольские лакированные сапоги; нога у Ираиды Филатьевны была самая маленькая, что называется аристократическая нога, с высоким подъемом и крошечной ступней.

— Ну-с?.,

— Ах, Ираида Филатьевна… одну крошечную рюмочку бы… А?..

— Да у вас, батенька, вчерашнее похмелье из головы не вышибло, а вы рюмочку…

Вместо ответа старик моментально схватил своими красными дрожавшими руками маленькую белую руку Ираиды Филатьевны и покрыл ее поцелуями; Ираида Филатьевна молча поднялась со ступеньки крыльца, на котором они сидели, и, слегка переваливаясь на своих толстых коротких ножках, ленивой походкой ушла в комиату.

Разговор происходил на крыльце коковинской приисковой конторы. Старик несколько времени сидел неподвижно на своей ступеньке, потом поднял голову и, прищурившись, долго смотрел кругом. Налево от конторы поднималась лесистая горка, направо раскинулся желтым пятном Коковинский прииск, точно оправленный в широкую зеленую раму из хвойного леса. Кругом беспорядочно громоздились Уральские горы, обрезывая горизонт волнистой неправильной линией. Все кругом — и горы, и лес, и прииск, и самая контора — было залито ослепительным светом июльского солнца. Около вашг-ердов на прииске не суетились старатели, в лесу замолкли птичьи голоса, и даже неутомимый дятел перестал долбить старую ель с обломленной вершиной, которая стояла в двух шагах от конторы.

— Ух, как парит… — вслух проговорил старик, снимая с головы рваную скомканную баранью шапку.

Ираида Филатьевна вынесла ему стаканчик водки; старик жадно припал к нему блестевшими

синими губами и, выпив водку залпом, на несколько времени впал в то бессознательноблаженное состояние, какое испытывают только горькие пьяницы.

— Кто же вас ко мне прислал? — спрашивала Ираида Филатьевна, опять усаживаясь на ступеньку рядом со стариком; она задыхалась от жара, а на крыльце было как будто прохладнее.

— Сам пришел-с, сам, — заговорил старик разбитым! хриплым голосом. — Я ведь не всегда такой был, Ираида Филатьевна. Когда ваш папенька, генерал Касаткин, служили на Урале, они бывали у меня в доме… Как же-с!.. Все бывали, потому что дом у меня был полная чаша. Все тогда знали Якова Порфирыча Шипнцына… Да-с!.. В силе был, в большой силе-с, капиталами страшенными ворочал… Да и вы у меня бывали, сударыня, этакой маленькой девочкой: коротенькое платьице, белые кальсончики, локончики… Хе-хе!.. Конечно, где вам упомнить, ежели тогда вам, может, семой годок шел… Одним словом, отроковица.

— Ведь вы в Лобовском заводе живете?

— Да… то есть нет: жил когда-то, а теперь где день, где ночь.

— Я помию, дом у вас стоит на горе?

— Точно так-с… Этакой большой домина, с мезонином, колоннами, галдареей и всякое прочее. А рядом с моим-то домом стоит дом Хомутова, Прошки Хомутова… Такой же, как у меня. Может, помните?

— Нет… Я помню, как сквозь сон, что была с папа в Лобовском заводе, в доме с колоннами, и ела малину в большом саду, вместе с какими-то девочками…

— Именно, именно, сударыня… И малина была крупная, хорошая малина, а девочки-то — мюи дочери. Да-с… Вот дочери-то меня и загубили, сударыня. Ах, не то ведь я хотел сказать, о дочерях после. Завел я речь о том, почему пришел к вам… А видите, какая причина вышла: как-то в городе, в Мохове нашем, зашел я грешным делом в кабачок, известно, не с радости, а с горя… Хорошо. Только тут попались мне старатели с Коковинского прииска, ну, разговорились. Вот они мне и рассказали про вас: такая, говорят, у нас славная барышня на прииске, одним словом! добреющая душа. К кому хворь, говорят, прикинется, али какое горе — все к ней несем… Вот я тогда и припомнил вас… Думаю, авось барышня и признают Якова Шипицьгна. А мне, видите ли, нужно пробраться на Вогульский прииск, к Хомутову, оно, значит, к вам, на Коковинский-то, мне и вышло по пути… Как же-с! А вы вот и признали меня…

— Однако что вам от меня нужно?

— Я-с?.. Мне лично от вас ничего не нужно, Ираида Филатьевна… Как изволите видеть: весь тут — стар и дряхл, а похоронить-то и меня место найдут. Вот за стаканчик я вам благодарен… Э-эх! Ну, да это все пустяки, дело-то не в том… Да-с. Не о себе хлопочу. Только уж позвольте сначала вам все обсказать.

— Рассказывайте…

Шипицын на минуту задумался, припоминая длинный ряд годов, где мелькали знакомые лица, дорогие сердцу сцены и разные житейские случаи; он встряхнул головой, точно желая освободиться от тяжелых воспоминаний, и заговорил своим дряблым, разбитым голосом:

— Поохора-то Герасимовича вы знаете?

— Нет.

— Ну, Хомутова?.. Прошку Хомутова?

— Да слыхала о нем, даже раз, кажется, видела его издали.

— Так-с…

Шипицын опять задумался. На пыльной дороге, в двух шагах от конторы, весело выбежала синичка и, помахивая длинным черным хвостиком, с женским любопытством посмотрела своими черными крошечными глазками на разговаривавших.

Одно мгновение она, кажется, готова была улететь и даже немного присела, чтобы вспорхнуть разом, но страх так же быстро миновал, как и пришел, и маленькая шалунья беззаботно погналась за кружившимися в воздухе и ошалевшими от жару мошками. Она ловко схватывала их, делая самые грациозные па, и несколько раз оглянулась на крыльцо, точно ожидая погони.

— У нас еще отцы-то жили душа в душу, — заговорил Шипицын после своего раздумья, — а потом мы с Прошюой подросли, почитай, однолетки были, в один год нас и женили… Мы по беспоповщине, так свадьба у нас по родительскому благословению. Живо» рукой окрутят, и вся тут. Хорошо… У Хомутова в доме и моленная налажена была. Ноньче эти дела просто пошли, а допреж этого, ух, какие строгости были: разорят за моленную. Только старики-то Хомутовы крепки были, ну, и не сумлевалнсь: чуть что заслышат, сейчас давай замазывать всем рты. Ну, обыкновенная политика… Хорошо. Вот мы и живем рядышком: у Хомутовых дом полная чаша, и у нас тоже. Даже огороды не были разгорожены, ребятишки так одной грудкой и ходят… А детишек у нас все копится да копится: что ни год, то и с прибылью. Только у Прошки ребята родились все вперемежку: ноньче девка, на другой год парень— так, вроде как часы были заведены; а у меня не так: у меня подряд шли все девки… Ей-богу!.. Уж чего-чего только мы не делали с женой, чтобы парня хоть одного добыть: на Боже мой! Как сама-то тяжелая ходит, так я уж по глазам вижу, что беспременно она девку принесет опять… И что бы вы думали: десять девок! Ну, куда я с ними денусь, особливо по нашему купеческому положению! Сын подрос, он уж и помощник, с десяти лет за прилавком: и себе хлеб зарабатывает и отцу замена. Хорошо. Вот только жена моя в одиннадцатый раз и забеременела. А меня и страх, и горе, и злость вперед разбирает. Как, думаю, жена принесет одиннадцатую девку, сейчас ее, как кошку, в мгшок да в воду… Ей-богу, так и думаю про себя. Ну-с, и ждем мы с женой, как страшного суда, кто родится…

— И родилась одиннадцатая девка?

— Так точно-с: одиннадцатая!.. Уж такое меня горе взяло, такое горе взяло! Пошел к своему старику, который у нас за попа справлял… Марком его звали. Ну, Марк меня и спрашивает: «Кого, Яков Порфирыч, Бог дал?» А я ему: «Будь она, — говорю, — от меня проклята, — одиннадцатая девка родилась!» Ах, горе, горе!..

— Что же, вы утопили ее?

— Нет… Какое утопил!.. Старших-то девок я-таки недолюбливал, а одиннадцатая-то к самому сердцу пришлась. Ей-богу…сударыня… Стала она подрастать, и такая из себя бойкая да смышленая девчурка вышла, ну, загляденье: глазенки как черная. смородина, волосы русые да кудрявые, сама румяная… Ах, хороша уродилась Настенька, все соседи любовались, только уродилась она не в добрый час… Да. Как раз с самого дня ее рождения начали мы захудать, то есть я и Хомутов. Одному тут не везет, другому в другом месте… Не успеешь от одной незадачи поправиться, а там уж другая на носу. Так оно и пошло, точно под гору покатилось. Ну, по

крайности, не обидно выходило: пир пировали вместе и горе горевать вместе. Куда что девалось: сначала тоже крепились, а потом уж и крепиться мочи не стало. А у Хомутова дела еще хуже моих. Я-то хлебом торговал, а он красным товаром.[3] Вот и подойди Ирбитская ярмарка. Неотступно Хомутоту деньги надобны, а денег нет. Он ко мне, как к старому другу-приятелю, а у меня тоже пусто в кармане: все деньги, какие были, в товар положил. Объяснил я ему все дело и говорю, что помочь мне ему нечем… А Прошка-то Хомутов-то и говорит: «Яков Порфирыч, поручись за меня!..» Подумал-подумал я, ну, как не помочь человеку, ежели он просто заживо тонет, да еще какому человеку: душа в душу жили чуть не сто лет. «Хорошо», — говорю я Прошке. Ну, он, обнаковенно, зачал божиться: тот бог, этот бог… Поручился я за него тысяч на десять, и он поехал на Ирбитскую, набрал товару, а потом через полгода и обанкрутился: все богатство как водой смыло — ничего не осталось. А тут и меня за мою поруку подтянули, и тоже все с молотка пошло… Ох-хо-хо!.. Забедовали как есть… Лавки опечатаны, товар с укциону ушел, дома что было накоплено — тоже помаленьку растранжирили, — сегодня лошадку продадим, завтра экипажи, после — серебряную посуду, из платья что ни на есть. Вконец захудали… А я не ропщу: думаю то — вместе беду несем, авось поправимся. Конечно, оно обидно, что последние крохи у меня за Хомутовым пропали, ну, а поправится мужик — отдаст.

— Тогда эти вольные золотые промысла пошли, — продолжал Шипицын после небольшой паузы. — Ну, Хомутов-то и раньше немножко золотом займювался, а тут уж обеими руками за прииска схватался… Все равно: двух смертей не будет, а одной не миновать. Сыновья у него подросли, ну, все отцу подмога от них. А я так и посел с своими одиннадцатью девками: женихов-то и не видывали. Да и какие женихи: кто побогаче — брезгуют из разоренного дому невесту брать, кто победнее — думают, что такая невеста к бедности все-таки необычна, тосковать станет. Ну, их у меня, невест-то, зараз штук шесть и очутилось на руках… Чистое горе!.. Девичье дело — и одеться надо и обуться, а достатков-то не хватает и на хлеб. Вот Хомутов приисками занялся, а мне и того нельзя: сижу с своими девками, как собака на цепи, а девки на возрасте — долго ли до греха, К бедности-то завсегда грех первым делом льнет… Так мы и маячились лет с пять, а тут, погляжу, мои старшие-то дочери совсем зачичеревели в девках, а за ними уж меньшие, как горох по тычинкам, растут. Одиннадцатая-то, Настенька, тоже уж за двенадцать годочков перевалило и так-то наливается, что твое яблочко. И все это ей нипочем, вроде как ртуть! Мы ее стрелой прозвали за ее разудалый характер. Всех, бывало, утешит… А в тринадцать-то лет она у нас совсем заневестилась: хоть сейчас замуж. Ейбогу!.. Оказия, а не девка… А мне уж и кормить моих девок нечем, давай их сбывать по добрым людям: старшие, те в начетчицы ушли, другие из-за хлеба околачивались по дальним родственникам, одна учительшей была… Не с голодухи же помирать моим девкам!.. А уж в те поры начал я вином зашибать… Остальные остатки тащил из дому да пропивал. Да как и не пить: придешь домой — вроде как ад кромешный. Жена высохла и вроде из ума рехнулась, дочери грызутся, бедность, нищета… Ох-хо-хо! Одна стрела наша и в ус не дует: придешь пьяный домой, она тебя и приберет, и уговорит, и спать уложит, а на утро даже опохмелиться даст. Под пьяную-то руку я драться стал крепко: всех, бывало, как мышей, разгоню из дому… Жену, старуху-то, даже тиранить стал. Ей-богу, осатанел совсем. Ну, а тут как раз Хомутов и открой этот Вогульский прииск: в год все долги свои заплатил и четыреста тысяч в карман чистеньких. Обрадел я, бросил свое пьянство, вымылся, помолился и к Хомутову, за своим, значит, долгом… Что бы вь думали, сударыня, ведь этот самый Хомутов заперся в моем долге?!. Ей-богу… «Не бирал» — и шабаш. Это он моми-то десятью тысячами покорыстовался при своих, можно сказать, миллионтах… А дело велось по дружбе, без всяких записок, ну, и сплакали мои десять тысяч.

— Должно быть, этот Хомутов величайший мерзавец?!.

— Как вам сказать… Мудреное это дело, сударыня, человека судить: и не мерзавец Хомутов, и на нищую братию тысячами жертвует, и многим помогает, а мне не заплатил… Ума не приложу!.. Даже ежели бы он и должен не был мне, ну, что ему стоило дать мне взаймы хоть там пять каких-нибудь тысяч: ведь всю бы семью спас и деньги свои обратно получил. Нет, куда тебе! На меня же накинулся и даже в шею выгнал из своего собственного дома… Вот тут уж я и закурил окончательно, а жена, старуха-то моя, маялась, маялась, да и догадалась: померла… Да-с, вот оно куда пошло, Ираида Филатьевна… А потом, как я остался один-одинешенек с моими девками, тут такая музыка началась — не приведи Господи!..

Девки все на возрасте, кровь в них ходит, ну, известно, одолели… Так и пошли по рукам ни за грош, а стрела-то моя одна у меня и осталась, как зеница в глазу. И то сказать, девчурке всего пошел шестнадцатый годок. Вострая девка, чего сказать, а водой не замутит… Ну, а тут как-то и ее грех попутал…

— Пятнадцати-то лет?

— Ей и теперь пятнадцать… Да. Обидно мне это, Ираида Филатьевна, потому как сманил Настеньку все тот же Хомутов, Прошка Хомутов. Стрела-то теперь с ним на Вогульском и живет… Ну, посудите: ему за пятьдесят, а ей всего шестнадцатый годочек… Ведь еще дите, ежели разобрать, хоть из себя она вполне может ответить за настоящую взрослую девицу.

— Ах, негодяй! — вскричала Ираида Филатьевна, вскакивая с своего места.

— Я вот к нему и пробираюсь за моей стрелой, да вот к вам по пути завернул: не пособите ли чем моему горю?

— Именно?

— Как же-с… Первое дело, одному мне Хомутов не отдаст Настеньку, а ежели бы вы на него напали, вдвоем-то мы у него из горла вырвем девку. Ей-богу!.. Да мы его… Видите, не могу я с ним разговору вести, а как увижу — сейчас меня точно обухом по голове: все потемнеет, и ничего не помню. А вот вы бы насчет разговору преотлично-с… Второе-с: куда я денусь с Настенькой, ежели и ослобонит ее? Ни кола, ни двора… А жаль девку: мак, а не девка, хоть я и проклял ее при рождении.

— Хорошо, я подумаю, — задумчиво ответила Ираида Филатьевна, зажигая потухшую сигару.

II

— А вот и наши идут, — прибавила Ираида Филатьевна, указывая Шипицыну движением головы на подходивших к конторе со стороны прииска трех мужчин. — Оставайтесь с нами обедать, Яков… Яков…

— Порфирыч, сударыня, — помог Шипицын, поднимаясь с своего места. — Нет, Ираида Филатьевна, оченно вам благодарен и без того… Помилуйте-с, я свое место даже весьма понимаю. Куда уж мне в лаптишках с господами иностранцами обедать…

— Да ведь иностранцы такие же люди, как и мы с вами. Оставайтесь!..

— Нет, уж увольте, сударыня… потому как я по своему убожеству даже людей порядочных нынче избегаю, а ежели к вам насмелился обратиться, так единственно по вашей превеликой доброте. В родителя пошли сердцем-то, в Филата Никандрыча… Вот ежели бы относительно

Настеньки вы оборудовали это дело, в правую ножку поклонюсь… Ведь еще совсем отроковица она у меня!

— Хорошо, я подумаю, а вы завтра утром наведайтесь. Теперь вы куда?

— А на прииске места много… У кого-нибудь из старателей перебьюсь до завтра.

Шипицын конфузливо переминался с ноги на ногу и не уходил; он стыдился попросить еще стаканчик водки, но Ираида Филатьевна предупредила его просьбу и вынесла второй стаканчик; старик с жадностью выпил водку, торопливо вытер губы горстью и, как-то весь сгорбившись, униженно шмыгнул куда-то за угол конторы, вероятно избегая встречи с господами иностранцами.

Впереди всех шел старик француз с козлиной бородкой и седыми усами; его высохшее длинное тело было заключено в щегольскую синюю визижу, серые брюки и лакированные охотничьи сапоги. Из-под нависших седых бровей весело и проницательно глядели светло-карие глаза, окруженные целой сетью мелких морщин. Мягкая пуховая шляпа с широкими полями защищала его от жгучих солнечных лучей. Вообще ш-г Пажон принадлежал к тому типу молодящихся старичков, которые до семидесяти лет считают себя юношами. Рядом с ним ковылял герр Шотт, настоящий швабский немец, с длиннейшими руками, длинным туловищем, короткими-ножками и каким-то дряблым картофельным лицом. Шествие замыкал мистер Арчер, молодой человек лет двадцати, высокий, стройный, с румяным лицом, голубыми строгими глазами и твердо сложенными губами; в зубах он держал маленькую пенковую трубочку. Заложив сильные красные руки за спину, молодой человек шел с тем особенным спокойным равнодушием ко всему на свете, как умеют ходить только одни англичане, на голове у него был надет helmet of India[4]

— Здравствуйте, mademoiselle… — заговорил по-французски m-r Пажон. — Мы, кажется, заставили вас ждать? Тысячу раз извините…

— У вас тут была какой-то мущин? — спрашивал немец, снимая с головы соломенную шляпу, причем его голова оказалась совсем лысой.

— Экое у вас бабье любопытство, герр Шотт, — отрезала Ираида Филатьевна. — Не «была мущин», а был мужчина…

— la, ja…[5] —забормотал старик, — быль, мущина…

— Ну, был, а теперь его нет… Вам какая забота?

— О, ви скажет всегда… такое скажет… — бормотал старик, отмахиваясь своей длинной, как рачья клешня, рукой.

М-г Пажон и мистер Арчер вдвоем знали только два русских слова: первый щи называл «чи», а второй говорил «хорошо» и «нэт хорошо». Герр Шотт постоянно щеголял перед ними своим знанием русского языка.

После обеда, поданного на открытом воздухе под навесом крыльца, вся компания разошлась по своим комнатам. Коковинская приисковая контора была выстроена на две половины: в одной жили герр Шотт и мистер Арчер, а в другой m-r Пажон и Ираида Филатьевна. Последняя на прииске, кроме своей главной роли переводчицы, имела еще большее значение как хозяйка и подруга m-r Пажона. Международным языком на прииске был французский, и благодаря ему Ираида Филатьевна заняла свое настоящее положение. В сложности, все четверо представляли

собой массу таких непримиримых противоречий, что едва ли одна кровля когда-нибудь прикрывала более запутанную человеческую комбинацию.

Ираида Филатьевна передала свой разговор с Шипицыным, когда осталась в комнате вдвоем с m-r Пажоном. Француз слушал ее порывистый рассказ сосредоточенно и серьезно, насасывая длинную трубочку с шелковой кисточкой на тонком чубуке; он несколько раз хмурил свои седые брови и, наконец, проговорил:

— Что же вы думаете теперь делать, mademoiselle Ира?

Он не говорил ей «ты»; Ираида Филатьевна употребляла «вы» и «ты», глядя по расположению духа.

— Как что? — удивилась она.

— Как хотите, а женщине вмешиваться в такие дела, помоему, не совсем удобно…

— Что ты хочешь этим сказать?

— Да ведь этот Хомутов moujik,[6] и может сделать какуюнибудь неприятность… наговорит дерзостей.

— Что же, по-твоему, оставить эту пятнадцатилетнюю девочку в руках этого скота?

— Может быть, она сама этого хочет…

— Никогда… Слышишь: никогда!.. В пятнадцать лет девочка не может иметь таких гнусных желаний. Это было с ее стороны ошибкой, может быть, заблуждением, наконец, просто несчастием… Ее во что бы то ни стало необходимо вырвать из рук Хомутова. И я это сделаю завтра же…

М-г Пажон несколько мгновений полувопросительно смотрел на покрасневшую Ираиду Филатьевну и потом задумчиво проговорил:

— У вас геройская душа, mademoiselle Ира…

— Вздор!.. Никакого тут и геройства нет, а самое простое человеческое чувство, которое возмущается несправедливостью. Это у вас всякие пустяки за геройство сходят… Вы думаете, что женщина создана специально только для вашего удовольствия?.. Нет, она такой же человек, как и мужчина. Поймите это раз навсегда.

— Во всяком случае, если Хомутов позволит с вами какую-нибудь дерзость, я к вашим услугам…

— Это насчет дуэли?.. Ха-ха… Хомутова можно побить, но драться на дуэли он никогда не будет.

— Хорошо, предположим, что вы освободили эту девушку, а потом, что вы с ней будете делать?

— Как что? Привезу ее сюда, и она будет жить со мной в одной комнате, то есть вот в этой самой, в которой мы сейчас разговариваем.

— А я куда?

— Вы перейдете к Шотту… Что ж тут такого особенного? Устроимся как-нибудь…

М-г Пажон готов был хоть сейчас же драться на дуэли с Хомутовым, но спать в одной комнате с герр Шоттом — это заставило его нахмуриться.

— Если вы вздумаете сердиться, то я совсем уйду от вас, — пригрозила Ираида Филатьевна, загораясь румянцем до самой шеи. — Что за глупости!.. Будьте довольны тем, что имеете… за неимением лучшего. А то я сейчас же… Понимаете?

— Ах, я совсем и не думал сердиться, — поправился m-r Пажон, целуя руку m-lle Иры. — Мне показалось только неудобным то, что, как хотите, под одной крышей, сейчас за стеной, не считая меня, будут жить еще двое мужчин. Знаете, молоденькая женщина, с одной стороны, сама будет подвергаться опасности, а с другой…

— Ха-ха-ха!.. — залилась Ираида Филатьевна. — Вот это мило… Ха-ха!.. Что же, они дикие звери, что ли! Что касается мистера Арчера, то могу поручиться за него, что он даже не взглянет на девицу лишнего раза, потому что он джентльмен с ног до головы. Кроме того, он влюблен в какую-то кузину, которой пишет длиннейшие письма в Англию каждую неделю и на которой он женится… Я поручусь за Арчера. Может быть, вы опасаетесь за герр Шотта? Но, право, этот швабский Аполлон совсем не опасен, кроме… своей флейты и бумажных ковриков. Ведь он и мне дарил эти коврики, однако, как видите, это совсем не так опасно.

Ираида Филатьевна принадлежала к тем горячим натурам, для которых каждое мимолетное желание— закон. Она целую жизнь была игрушкой и рабом этих желаний, переживая тысячи неудач, ошибок и разочарований, какие неизбежно сыплются на голову таких людей. Вместе с тем, точно для довершения всех бед, природа дала ей добрейшее сердце, которое вечно изнывало под напором неудовлетворенной любви, подталкивая ее на самые дикие выходки. Раз известная мысль попадала в голову Ираиды Филатьевны, раз она согревалась теплотой ее любвеобильного сердца, — эта мысль немедленно приводилась в осуществление. И так шла целая жизнь, какими-то пароксизмами самой лихорадочной деятельности, горячими скачками от одного предмета привязанности к другому; эта лихорадка выкупалась тяжелыми минутами уныния, давящей тоски и полным равнодушием ко всему на свете.

Не дальше как утром Ираида Филатьевна переживала одну из самых тяжелых минут своего мудреного существования; но тут подвернулся старик Шштицын со своей «стрелой» — и всю хандру как рукой сняло. Впрочем, она давно уже не испытывала прилива сил и теперь точно хотела наверстать даром потраченное время. Конечно, и раньше она никому не отказывала в помощи и постоянно возилась с приисковыми бабами и ребятишками, которые одолевали ее своими болезнями, нуждами и разными бедами приискового житья-бытья. Но такая деятельность не удовлетворяла кипучей натуры Ираиды Филатьевны, не поглощала всех сил, не заставляла переживать мучительныхчасов ожидания и щемящей тоски.

Теперь другое дело.

Когда Шипицын еще рассказывал о «стреле», в голове Ираиды Филатьевны успел сложиться самый блестящий план не только освобождения этой девушки, но и окончательного устройства ее на. прииске. Она дала Шипицыну уклончивый ответ только под влиянием той выдержки, какая еще сохранилась в ней каким-то чудом.

«Mademoiselle Anastasie… Настенька… Настя…»—шептала про себя Ираида Филатьевна, с нетерпением дожидаясь ночи.

Она уже любила эту пятнадцатилетнюю девочку, жертву бедности, людского эгоизма и

развращенности. Это чувство охватило ее с особенной силой и заставило ее сорокалетнее сердце бить усиленную тревогу, точно эта Настенька была ее собственной дочерью, которая когда-то была потеряна, а теперь вдруг нашлась... Да, она, эта Настенька, всего в тридцати верстах от Коковинского прииска, и Ираида Филатьевна осыпала детище своей фантазии самыми ласковыми, нежными именами, какие может — придумать только любящая женская душа. За ужином Ираида Филатьевна все время думала о том, что-то теперь делает ее Настенька на Вогульском прииске? Может быть, там идет бешеная оргия, и этот ребенок улыбается своим палачам. Дальше ей представлялось, что девушка переживает самую горькую нужду. Так может думать только мать о своих детях, придумывая и переживая тысячи несуществующих затруднений и опасностей. Словом, Ираиду Филатьевну охватила всесильная страсть, страсть совершенно особенного рода: раньше она любила только мужчин, а теперь всей душой прилепилась к совершенно неизвестной ей девушке.

Вечером, когда все улеглись спать, Ираида Филатьевна осторожно поднялась с своей походной железной кроватки и, распахнув окно, уселась на подоконнике, с голыми <плечами и руками. Голова горела, ей было душно. Вежливый храп ш-г Пажона возмущал ее теперь до глубины души, и она с закрытыми глазами мечтала о блаженном завтра, когда в этой комнате место накрахмаленного истертого француза займет Настенька и разом наполнит комнату свежестью своей шестнадцатой весны. Ее воображение уже вперед рисовало картину того, как они устроятся в этой комнате вдвоем: свою кровать она отдаст Настеньке, а сама переберется на клеенчатый диван; затем на окнах нужно будет повесить занавески, а на полу разостлать ковер. Недурно было бы оклеить стены обоями, достать туалет...

— Нет, это уж роскошь... вздор! — решила Ираида Фи-, латьевна, останавливая полет собственной фантазии. — Необходимо устроить трудовую обстановку, пополнить библиотеку новыми книгами, выписать несколько журналов...

А в окно на мечтавшую Ираиду Филатьевну глядела мириадами блестящих глаз пахучая летняя уральская ночь; прииск и река Коковинка были затянуты белым туманом; горы при неверном освещении молодого месяца казались выше, пирамидальные верхушки елей и пихт вырезывались на голубом фоне северного неба каждой своей веточкой; где-то проскрипел в осоке коростель, и ухнул в лесу филин. Одним словом, это была одна из тех чудно-поэтических, тихих и полных грез, северных ночей, когда человек точно тонет в окружающей его сладкой дреме.

Да, ночь была чудо как хороша и, как настоящая красавица, щедро рассыпала кругом себя дары и блестки своей красоты. Самый воздух, напоенный ароматом лесных цветов и травы, кажется, не смел шевельнуться, чтобы не нарушить чудной гармонии, охватившей тихо и торжественно спавшую землю. Ночные тени сгустились у опушки леса, залегли темными пятнами по логам и впадинам, а там вверху, в бездонной голубой выси, разливалось трепетное голубое сияние лихорадочно горевших серебряных звезд, точно алмазная пыль; широкие полосы лунного света выхватывали из ночного мягкого сумрака стрелки елей и пихт и ложились на покрытую росой траву матовыми фосфорическими пятнами.

— Как это все хорошо!.. — проговорила вслух Ираида Филатьевна, с жадностью дыша полным свежести летней ночи воздухом.

Но она не замечала творившихся пред ее глазами красот природы: все чувства и мысли были сосредоточены, как в фокусе, на одной идее. Да, теперь все было хорошо. Ираида Филатьевна с удовольствием припоминала свой последний «случай», когда она поступила переводчицей на Коковинский прииск. Много она пережила на своем веку, но похоронить себя в глухом лесу, в обществе каких-то сомнительных иностранцев — это было с ее стороны очень смелым шагом,

на который она решилась с большим трудом. Впрочем, она была достаточно гарантирована тем, что ш-г Пажон был очень порядочный человек, как она убедилась с первого знакомства с ним, хотя он и был легкомыслен и говорил, как истый француз. Сначала она долго относилась скептически к этому фантазеру — инженеру, который помешался на идее оживить русскую золотопромышленность усовершенствованными способами механической промывки золотоносных песков. Потом… потом повторилась одна из тех историй, которые вечно останутся новыми: в одно прекрасное утро Ираида Филатьевна сделалась подругой ш-г Пажона. Это случилось как-то само собой, и стороны не обольщали себя иллюзиями.

— Если вы хотите, мы завтра повенчаемся, — предлагал m-r Пажон в порыве великодушия.

— О нет… Мы и без этого успеем еще разойтись, когда надоедим друг другу, — ответила Ираида Филатьевна.

III

На другой день рано утром Шипицын нехотя брел к приисковой конторе. В голове у него стояло ужаснейшее похмелье. Он несколько раз должен был останавливаться и отдыхать на свалках перемытого песку. «Поднесет или нет Ираида Филатьевна стаканчик? — думал старик, с трудом передвигая Подгибавшиеся и дрожавшие ноги. — Ох, хорошо бы пропустить два таких стаканчика…» — с безнадежной тоской прибавлял Шипицын про себя, и в его воспаленном мозгу уже рисовалась картина, как Ираида Филатьевна берет графин водки и наливает стаканчик.

— Эй вы, что же это вы едва шевелитесь? — окликнул Шипицына женский голос.

— Вот те и раз… — проговорил старик, поднимая голову. — К самой конторе подошел… Ишь ты!.. Никак, у них гости? Какая-то дама… Должно быть, меня за кучера приняла.

У конторы действительно стояла тройка оседланных лошадей, а по крыльцу нетерпеливыми шагами ходила сама Ираида Филатьевна в шелковом цилиндре с вуалью, в синей амазонке с длиннейшим шлейфом и в шведских перчатках с лакированными манжетами. Шипицын не узнал ее сначала; она показалась ему выше, чем вчера, и неизмеримо красивее. Он даже снял свою баранью шапочку и униженно поклонился издали.

— Да ну же, чего вы стали? — закричала на Шипицына Ираида Филатьевна, топая ногой. — Я вас с которой поры здесь жду… Верхом умеете ездить?

— Д-да…

— Ну, так садитесь, сейчас же и в дорогу. Вот стоит гнедая, на нее и садитесь.

Шипицын отправился к гнедой лошади, закинул ногу в стремя и, как мешок с травой, свалился на землю.

— Не могу, Ираида Филатьевна… — прошептал он. — Мне бы поправиться… чуточку поправиться… Я молодцом проеду, ей-богу молодцом!..

Ираида Филатьевна ушла в контору и вернулась с полубутылкой коньяку в одной руке, а другой она торопливо спрятала в карман своей амазонки плохонький старинный револьвер системы Лефоше. Пока Шипицын допивал второй стаканчик, из людской показался кучер Макар.

«Ну, и езопа же барышня где-то добыла», — думал он, не торопясь подходя к крыльцу.

При помощи Макара Ираида Филатьевна взобралась в седло и опытной рукой натянула поводья: соловый киргиз-иноходец, с поротыми ушами, красиво выгнул свою оленью шею и нетерпеливо затоптался на одном месте. Шипицын, спрятав недопитую бутылку за пазуху, тоже взмостился на свою лошадь, причем никак не мог попасть другим лаптем в стремя.

— Макар, принеси свои сапоги, — скомандовала Ираида Филатьевна, сгорая от нетерпения.

Макар неохотно сходил за сапогами и, почесывая в затылке, подал их Шипицыну.

— Две повертки налево, а потом одна направо? — спрашивала Ираида Филатьевна, пока Шипицын надевал сапоги.

— Точно так-с, барышня, — отвечал Макар, бойко встряхивая своими подстриженными в скобу волосами. — Первая повертка налево будет на прииск Талой, к Соболеву, значит… Вторая повертка налево уведет в Мураши, деревушка тут есть, а третья направо — на прииск Кошьи-к, к Колченогову.

Через пять минут Ираида Филатьевна уже спускалась на своем иноходце под гору, прямо на прииск; Шипицын рысцой, дрыгая в седле, старался догнать ее. В поводу он вел запасную лошадь в дамском седле; это была лучшая лошадь на прииске, вороной масти, с тонкими сильными ногами и блестевшими черными глазами. Шипицын даже не спросил, куда они едут: по воинственному виду Ираиды Филатьевны он видел, что они едут добывать от Хомутова «стрелу». Они скоро миновали прииск и поднялись на крутую лесистую горку; с нее открывался великолепный вид на весь прииск и на контору, которая занимала небольшое возвышение. Картина получалась самая пестрая: на протяжении целой версты земля была изрыта по всем направлениям и образовала по бокам прииска громадные свалки; Коковинка была запружена в нескольких местах, и ее мутную, желтую воду издали трудно было отличить от размытых песчаных берегов. Несколько золотопромывательных машин, штанговая водокачка, паровик около шахты, толпы рабочих, катившиеся приисковые тележки, нагруженные золотоносным песком, — все это было залито ликующим светом занимавшегося ведряного дня и «производило хорошее, доброе впечатление. Ираида Филатьевна любила приисковую жизнь; эта лихорадочная деятельность была в ее характере, отвечая ее авантюристским наклонностям.

— Экое обзаведение, подумаешь, — задумчиво проговорил Шипицын.

— Пожалуйста, не выпустите лошади, — упрашивала Ираида Филатьевна.

— Помилуйте… да я…

— Нет, серьезно говорю вам. И не отставайте…

Благодаря этой проклятой заводной лошади[7] положение Шипицына выходило самое критическое: левой рукой он правил своим гнедком, правой держал за повод вороную, и за пазухой между тем, как птичка в клетке, билась полубутылка коньяку… Не было никакой возможности пропустить хоть несколько капель живительной влаги, потому что, как только он пробовал вытащить из-за пазухи бутылку, вороная начинала прясть ушами, раздувала ноздри и. издавала самый подозрительный храп. Лошадь припоминала нагайку, которую Макар носил за пазухой. Пока Шипицын переносил муки Тантала, Ираида Филатьевна все сильней и сильней подгоняла своего иноходца. Ей казалось, что горы сегодня были выше обыкновенного и дорога делала много совершенно лишних поворотов. Особенно сердили ее крутые спуски, когда приходилось ехать шагом. Через час обе лошади были в мыле, и Ираида Филатьевна,

обратившись к своему спутнику, с досадой проговорила:

— До этого Вогульского прииска будет целых сто верст, а не тридцать…

— Сударыня, вы очень скоро едете…

— Вот вздор! Плетемся шагом, точно везем кислое молоко… Я не знаю, уж не сбились ли мы с дороги? Вы видели повертку направо?

— Точно так-с!..

— Это на Талый— Должна быть вторая ловертка в Мураши. Кажется, мы никогда не доедем до нее.

— На Талом-то работает Соболев, мой бывший приказчик, — со вздохом заметил Шипицын. — На Копчике тоже…

— Другой приказчик?..

— Да… Колченогое. На мои кровные денежки теперь раздуваются. Ох-хо-хоL. В нашем купеческом звании всегда так бывает: хозяин разорился — глядишь, приказчики и нолезли в гору. А без приказчиков купцу невозможно!.. Грехи!.. Надо же и им отведать сладкого житья, — прибавил Шипицынсо смирением, чувствуя, как у него с непривычки к верховой езде отнималась поясница и начинали отекать ноги.

А кругом, при утреннем освещении, все было так удивительно хорошо, точно бесконечной пестрой лентой развертывалась какая-то волшебная панорама.

С прикрутостей и взлобочков можно было видеть горы на далеком расстоянии. Они точно тонули в золотой пыли утреннего солнца. По лугам и впадинам, по дну которых прятались безыменные горные речушки, еще стоял туман; кое-где он начинал подниматься кверху небольшими белыми облачками, отдельными волнами и длинными белыми нитями. Уральские горы вообще невысоки, и только некоторые из них заканчиваются шиханами, то есть группами обнаженных скал на вершинах. Эти шиханы теперь были закутаны фиолетовой дымкой, которая на горизонте принимала темно-синие тона. Дремучий ельник выстилал все кругом, и только кое-где, на откосах и прикрутостях, из траурной зелени северной ели выделялись гривки сосняку, да еще по лощинам, где бежали из гор ключи, свежими светло-зелеными пятнами вырезывались отдельные островки березняков и осинников. В одном месте дымилось в тумане небольшое горное озеро; горы около него теснились зелеными валами, точно волны тяжелого бархата, раскинутые артистической рукой в красивом беспорядке.

Когда дорога желтой лентой сбегала под гору, даль пропадала, и путников охватывала настоящая зеленая нетронутая глушь, точно они спускались на дно какого-то бассейна, из которого вода только что была выпущена. Ели дружной семьей жались к самой дороге, образуя зеленую, прихотливо вырезанную шпалеру, в отверстия которой золотыми пятнами, полосами и зайчиками врывались солнечные лучи и зажигали брильянтовыми искрами придорожную траву, еще покрытую ночной росой. На самом дне лога, куда приводила дорога, мелькали зеленые душистые поляны, точно опушенные кустами рябины, жимолостью и смородиной; в сочной густой траве, хватавшей человеку по грудь, пестрели желтые молочаи, полевая гвоздика выставляла свои розовые головки, и синели лесные колокольчики. Дикий горошек мешался с белыми розетками ромашки; иван-чай высоко поднимал свои пирамидальные верхушки, облепленные бледно-розовыми цветочками и белым шелковистым пухом. Здесь же в густой зелени зрела и наливалась малина, краснели кисти поспевавшей костяники и далеко

разливал в воздухе свой аромат горный шалфей. Когда лошади, фыркая и мотая головами, вброд переправлялись через говорливую горную речку, путников охватывало ночной свежестью, которая заставляла вздрагивать.

— Этакая благодать! — умилялся Шипицын. — Чудны дела Твои, Господи… Вся премудростью сотворил еси!..

— Да, здесь действительно хорошо… — соглашалась Ираида Филатьевна, точно просыпаясь от какого-то сна.

Проведенная без сна ночь и тревога ожидания заставили побледнеть ее полное, немного обрюзгшее лицо, на котором на одно мгновение выступили следы минувшей красоты. На нее напало тяжелое раздумье, точно она еще раз переживала свою жизнь. Да, эти воспоминания давили ее, как тяжелый сон, в котором бесконечный ряд неудач и разочарований едва освещался двумя-тремя светлыми точками. Всего несколько мгновений счастья на целую жизнь — это слишком несправедливо!..

Опустив поводья и машинально глядя по сторонам, Ираида Филатьевна перебирала свое прошлое.

Ей теперь за сорок лет. Начала она себя помнить маленькой пухлой белокурой девочкой, которая ходила в коротеньких платьицах, белых панталонах, обшитых кружевами, и в завитых локонах. Лицо у ней было всегда круглое и всегда румяное. Отец называл ее толстушкой и всегда, бывало, ущипнет за самую щеку, когда она ласкалась к нему. Генерал Касаткин принадлежал к тому типу безалаберных и бесхарактерных русских людей, которые для подчиненных составляют истинное несчастие, потому что, как вы применитесь к человеку, который сегодня разрушает то, что создавал вчера, а завтра будет проклинать целый свет за то, что сегодня вполне одобрял. Они в то время жили на Урале, где отец в качестве горного инженера занимал очень видный пост. Мать для Ирочки навсегда осталась какою-то бледной, туманной фигурой, вроде тех, какие появляются на экране волшебного фонаря. Она всегда ходила с подвязанной щекой, вечно от чего-нибудь лечилась и появлялась на сцену только в самые критические минуты, когда генерал Касаткин начинал рвать и метать. Как все бесхарактерные люди, он был очень добр и вместе с тем вспыльчив до бешенства: в такие минуты к генералу не было никакого приступа, и он проделывал те несправедливости, какие люди такого сорта способны устраивать под впечатлением минуты. Появление жены заставляло расходившегося генерала успокаиваться, и он даже плакал от надрывавшей его злости.

— Ах, Ирочка, Ирочка… Моя милая толстушка, как мы теперь с тобой жить будем? — плакался генерал, когда в одно прекрасное утро бесцветная генеральша умерла.

Толстушка положила свою белокурую головку на плечо отцу и горько заплакала, заплакала потому, что все в доме плакали; в действительности она совсем не переживала осо- бенного горя, потому что и не понимала и не любила матери. Генерал предавался шумному и откровенному отчаянию, которое было совершенно искренне, как все, что он делал в своей жизни; он по-своему любил свою бесцветную жену. На руках у него осталось, кроме Ирочки, еще три дочери и два сына; как чадолюбивый отец, он сам взялся за воспитание детей. Это воспитание заключалось в том, что детям была предоставлена полная свобода, и они, как все дети, быстро освоились с своим новым положением: мальчики живмя-жили в кучерской, а девочки — в кухне или в девичьей. В каждом барском доме при-слуга имеет решающее влияние на воспитание детей, пред ним разлетаются вдребезги все благородные усилия гувернанток, гувернеров, учителей и учительниц. За служебными недосугами генерал Касаткин часто

совсем забывал о существовании своих детей и делал исключение только для толстушки Ирочки, которую любил без ума, потому что она походила на него во всем, как две капли воды. К этому времени относится поездка Ирочки вместе с отцом по заводам, причем для своего возраста она видела, может быть, слишком много, а еще больше того слышала. Часто ей приходилось быть немой свидетельницей очень откровенных сцен и разговоров, какие ведутся в холостой мужской компании, и никто не обращал внимания на забавную толстушку, которая дремала где-нибудь в уголке под шумок веселых разговоров. с)та цыганская жизнь исключительно в обществе мужчин оставила в характере Ирочки глубокий и неизгладимый след; к этому периоду ее жизни относилось и знакомство Ирочки с семьей Шипицыных.

Отсутствие бесцветной генеральши скоро отозвалось на судьбе генерала Касаткина самым роковым образом: не имея за спиной поддерживавшей его целую жизнь руки, он благодаря своей горячности запутался в самой глупой истории. Микроскопический горный чин сделал донос на генерала, куда следует, обвиняя его в очень важных злоупотреблениях; этот донос вызвал канцелярское следствие. Несмотря на свои недостатки, генерал был честный человек по службе и не знал за собой никакой вины; но беда вышла из того, что производить следствие приехал такой же вспыльчивый и взбалмошный человек, который с первых двух слов осадил генерала и даже заставил его замолчать. Понятно, что такое незаслуженное оскорбление взорвало генерала, тем более что он имел слабость считать себя человеком, в котором не только нуждаются, но без которого министерство даже не в состоянии обойтись. Словом, он разделял очень простительное заблуждение многих других людей и, вместо того чтобы сократить себя и помириться с оскорбившей его особой, полез на стену и в конце концов, как многие великие люди, вылетел окончательно в трубу. Подавая в отставку, генерал Касаткин был глубоко убежден, что ненастье бывает всегда перед ведром и что его призовут, поклонятся и призовут. Но вышло так, что генерала Касаткина не только не призвали, а совсем позабыли и замолчали; он навсегда был похоронен для казенной службы и слишком поздно постиг всю глубину своего падения, а также и то, что, будь жива бесцветная больная генеральша, этого никогда бы не случилось.

Вся эта история разыгралась в конце пятидесятых годов. На Урале генералу Касаткину больше нечего было делать, и он переехал в Казань, где у него был собственный домишко и какая-то недвижимая собственность в уезде. Но и в дни своего падения генерал Касаткин остался генералом Касаткиным и не сократил себя, но создал из своей жизни целую оппозицию ненавистному министерству. Прежде всего семья генерала начала испытывать чувствительные уколы бедности, которые, наконец, перешли в хроническую нужду; но чем теснее смыкалось роковое кольцо, тем сильнее генерал укреплялся на своей позиции и точно закаменел в какой-то болезненной гордости. Чтобы насолить своим недругам, он несколько раз поступал на частную службу, но и здесь не выдерживал характера и ссорился со всеми. Его расстроенному воображению везде грезились интриги и козни его недоброхотов, так что в конце концов он окончательно и навсегда закупорился в своем домишке, облюбовал либеральную газету и, пуская клубы дыма из длинной трубки, дал полную волю своему наболевшему чувству. Каждый номер газеты приносил новую пищу его озлобленному чувству, и он злобно хохотал, перебирая официальные известия о повышениях и наградах своих бывших товарищей по службе. Так как лично для генерала песенка была спета, то он постарался создать оппозицию в лице своих детей, воспитанием которых он теперь и занялся с этой нарочитой целью.

Жизнь в Казани для Ирочки была самым бурным периодом ее существования.

Ей только что минуло трйнадцать лет, когда они переехали туда, — самый неблагодарный возраст для девочки, когда она теряет занимательность маленькой игрушки, а в обществе больших является совсем лишней. Ирочка в тринадцать лет была все такой же румяной толстушкой, как и раньше, что ее очень бесило; ничего похожего на талию она не могла

сделать при помощи самых узких корсетов, а руки и ноги были точно налиты самой обидной ребячьей полнотой. Но Ирочка развилась гораздо быстрее своих лет, и в этом пухлом детском теле проснулись потребности и желания больших людей. Когда она ходила в свою школу в коричневом коротком платье и с книжками, перетянутыми ремнем, каждая встреча с красивым гимназистом бросала ее в жар. Ее детское сердце билось недетскими желаниями, и глаза заволакивались туманом: она изнывала от потребности любить и проводила бессонные ночи за чтением романов. Обыкновенно люди находят то, что желают найти, и Ирочка встретилась, наконец, с ним. Это случилось именно в разгар генеральской оппозиции министерству. Старшие две сестры Ирочки учились в старших классах той же школы, а братья кончали курс в гимназии; в генеральском доме скоро закипела шумная молодая жизнь. Генеральская оппозиция как раз совпала с движением конца пятидесятых годов, и старик ухватился за это движение, как утопающий за соломинку. В генеральском доме происходила настоящая ярмарка и велись самые оппозиционные разговоры. Ирочка могла только завидовать девушкам с стрижеными, по тбгдашнему обычаю, волосами и в синих очках, всегда окруженным толпою молодежи. Тринадцатилетняя толстушка, конечно, жалко терялась в этой толпе, слепо перенимая все, что успевал схватывать глаз. После нескольких неудачных попыток сблизиться с кем-нибудь из молодых людей, она с грехом пополам добилась иметь своего собственного учителя математики, студента Белоносова. Алгебра в жизни Ирочки навсегда осталась самой поэтической страницей, в которой из-за математических формул и алгебраических выражений на нее нахлынуло чувство первой любви. Теперь, через двадцать пять лет, Ирочка, как сквозь сон, припоминала этого Белоносова, — длинноногий, вихлястый, с зеленым лицом и длинной нечесаной гривой, он явился для нее тем идеалом, о котором она даже не смела мечтать. Сколько самых глупых воспоминаний было связано с этим временем: Ирочка до тошноты зубрила свою алгебру и в промежутках целовала те страницы учебника, к которым прикасались костлявые руки Белоносова, а обрезки карандашей, которыми он писал, и бумагу с формулами, выведенными его рукой, она даже съедала, как страус. Белоносов имел всегда очень суровый вид и совсем не замечал своей тринадцатилетней ученицы, когда она, с блестевшими глазами и заливавшим все лицо румянцем, отвечала свой урок.

Четырнадцать и пятнадцать лет промелькнули для Ирочки как сладкий сон, от которого она не могла проснуться. Белоносов, наконец, обратил на нее свое внимание и начал даже развивать забавную толстушку. Генерал предоставил детям полную свободу и совсем не вмешивался в их личные дела, благодаря чему Ирочка могла не только гулять с своим развивателем по пыльным казанским улицам, сколько было душе угодно, но даже заходила на его студенческую квартиру, где она чувствовала себя на седьмом небе. Эта пыльная, грязная, душная комната, с колченогим столом и просиженным клеенчатым диваном, сделалась немой свидетельницей первых вспышек любви Ирочки, которая отдалась Белоносову беззаветно.

Ирочка не могла рассуждать или объяснять что-нибудь… Своя воля, свобода — все это теперь гнело и давило Ирочку, которая молилась на своего идола.

Белоносов между тем кончил курс по математическому факультету и поступил учителем гимназии в один из провинциальных городов, сказав Ирочке на прощание:

— Ирочка, ты всегда была умной, рассудительной женщиной и поймешь, что… Одним словом, я женюсь.

Ирочка побелела от этих слов и жалким, убитым взглядом в последний раз взглянула ка своего коварного идола. Ночью она приняла мышьяку, а утром, когда она металась в страданиях, молодой врач Корольков, попыхивая папироской, спокойно говорил:

— Эх, барышня, и отравиться-то толком не умели… Не только любовь, а даже и мышьяк требует

меру: вы пересолили… Если бы вы приняли дозу вчетверо меньше, тогда вам осталось бы только раскланяться с этим миром, как говорят китайцы.

— В другой раз я воспользуюсь вашим советом, — едва могла проговорить Ирочка.

— Бедная моя, — жалел генерал свою Ирочку, когда узнал об ее неудачной попытке отравиться. — Стоило из-за подлеца беспокоить себя. Послушай, толстушка, меня, старика… Ну, да что тут толковать! Все вы, бабы, на одну колодку: языком и туда и сюда, а как дошло дело до физиологии — и шабаш! Ох! уж это мне ваша бабья физиология. Нет, ты, моя толстушка, будь вперед поумнее. На твой век подлецов много будет, а ежели из-за каждого травить себя — нет, жирно будет!.. А все ваша проклятая физиология бабья…

Генерал сильно состарился за последние года и, как все оставшиеся не у дел, как-то совсем опустился. Его полное красное лицо обрюзгло и обложилось жирными мешками; глаза потухали, а кончик носа принимал предательский сине-багровый оттенок, потому что от скуки и безделья генерал привык утешаться водкой.

Выздоровление Ирочки шло быстрыми шагами. Молодая натура, как помятая весенняя трава, счастливо пережила неожиданное потрясение и расцвела краше прежнего. Конечно, Ирочка в этом случае многим была обязана доктору Королькову, который каждый день навещал больную. Это был разбитной малый, от которого веяло вечным праздником. Он вносил с собой всюду струю самого беззаботного веселья. Притом Ирочка ему нравилась, что удесятеряло его веселье.

— Мы еще поживем с вами досыта, — фамильярно говорил он своей пациентке, которая заметно притихла и упала духом. — Необходимо смотреть философски на жизнь и на людей. Этот ваш Белоносов — чистый дурак, потому что не умел ценить своего счастья. Я бы на его месте никогда так не сделал…

Ирочка скоро утешилась в обществе доктора Королькова. Но это была уже не первая любовь: она теперь преследовала своего сожителя сценами ревности, подозрениями и горячими домашними перепалками. Впрочем, Корольков сам был виноват в этом: его постоянно тянуло от одной женщины к другой, и похождения доктора делались известны Ирочке; она уходила от него к отцу, но он опять являлся к ней, приносил с собой чистосердечное раскаяние в содеянных грехах, клялся всеми богами, что исправится, и Ирочка прощала ему все. Так дело тянулось лет пять, пока Корольков не наткнулся на одну очень пожилую вдову с рябым безобразным лицом и ястребиными глазами; она не только женила его на себе, но совсем придавила и загнала.

Ирочка опять осталась одна, на полной своей воле и, занятая своими личными делами, как-то не замечала, что делалось в родной семье, которая после смерти генеральши расползлась в разные стороны. Братья давно кончили курс в университете и поступили на службу; одна сестра умерла от тифа, другая рассорилась с отцом и поступила в гувернантки к богатому купцу. Генерал Касаткин давно махнул на детей рукой и продолжал свою «оппозицию», как он называл водку. В одно прекрасное утро старый генерал за стаканом крепкого чая отдал свою душу Богу, и Ирочка осталась одна.

Разрыв с Корольковым, смерть отца, свои под тридцать лет, а больше всего новый характер шестидесятых годов — все это, вместе взятое, заставило Ирочку крепко призадуматься. Казань ей надоела; все кругом было точно пропитано самыми тяжелыми воспоминаниями: недавние идеальные люди превратились в буржуа и открещивались от увлечений юности; общество преследовало то, чему недавно само же поклонялось, впереди нигде не видно было проблесков

лучшего будущего. Но Ирочка надеялась на осуществление своих идеалов, хотя кругом нее все представляло самую печальную картину разрушения; она решилась ехать в Петербург, где вместе с работой надеялась встретить и настоящих хороших людей.

В Петербурге она встретила людей с такими же недостатками, как и в Казани, и перебивалась целых десять лет, переходя от одной профессии к другой. И здесь ее преследовали те же неудачи, как в Казани: люди, с которыми она сходилась близко, всегда кончали тем, что обманывали ее более или менее наглым образом. Каждый раз после такого случая Ирочка давала себе слово, что уже в следующий раз ничего подобного не повторится. Ирочка одолела три новых языка и жила переводами, не отказываясь ни от какой работы: была корректором, ретушером, служила в книжном магазине, открывала какую-то мастерскую — словом, все было испробовано. Но, несмотря на все эти испытания, она оставалась прежней толстушкой, с неизменным румянцем на щеках, и оставалась слепо верующей в свое дело и в тех людей, которые для нее в дни юности были окружены ореолом героев. Свои личные дела она не смешивала с тем направлением, в котором кружилась с детства. На ее глазах недавние герои развенчивались, уступая место другим; идеи старели и заменялись новыми; жизнь создавала новые идеалы, типы и средства. Ирочка ничего не хотела знать, и, присутствуя при медленном вымирании деятелей и идей начала шестидесятых годов, она даже не допускала мысли, что прежние «дети» превратились в «отцов», давно полиняли, выветрились и износились.

Несмотря на все толчки и передряги, Ирочка все еще верила в «людей слова». Только семидесятые годы заставили ее оглянуться назад и сравнить это шумное прошлое с настоящим. Странно, Ирочка не понимала народившихся «детей», не признававших ни шумных сходок, ни полуночных горячих бесед, ни даже заветных книжек. Эти новые «дети» пугали Ирочку своей молчаливостью. Таким образом, похоронив движение шестидесятых годов, Ирочка сознавала только одно, что она в Петербурге лишняя, что ей тут нет места, и уехала на Урал.

IV

— Вот и Вогульский… — проговорил Шипицын, когда они въехали на открытую вершину одной горы.

— А? Что?! — проговорила Ираида Филатьевна, просыпаясь от своих воспоминаний и останавливая взмыленную лошадь.

— Говорю: Вогульский… Вот, в ложбинке, налево.

Было часов восемь утра; солнце залило горы ярким, ослепительным светом, и из общей массы зелени прииск Вогульский выделялся неправильной, ярко желтевшей заплатой. До него оставалось всего версты три-четыре. Направо, на самом горизонте синим дымком курился прииск Копчик. Ираида Филатьевна подобрала поводья и долго смотрела на зеленую даль, на эту чудную воздушную перспективу, прозрачную глубину, в которой тонул лес, горы и самое небо, едва тронутое легкими серебристыми облачками.

— Денег-то Хомутов добыл на Вогульском целую уйму, — тихо говорил Шипицын, стараясь удержать вороную лошадь, которая тянула в сторону, к зеленой траве. — В прошлом году зашиб тысяч пятьсот… Да-с. Плакали мои денежки…

— Как так?

— Да ведь он на мои деньги разведки-то производил, разбойник… Как же! Не поручись тогда я

за него, ведь шабаш бы Хомутову. Ох-хо-хо… Вот и Копчик тоже, и Талый…

Они осторожно начали спускаться под гору. Лошади почуяли жилье и весело фыркали, мотая головами. Ираида Филатьевна поправилась в седле, встряхнула шлейф своей амазонки от насевшей на него пыли и точно вся замерла на какой-то одной мысли. Вся краска сбежала с ее полного лица, сочные алые губы сложились твердо и уверенно, глаза смотрели вдаль смело и вызывающе, точно отыскивая своего противника. Ираида Филатьевна чувствовала, как замерло ее сорокалетнее сердце, когда она завидела вдали контору на Вогульском: там Настенька, от которой разделяло их всего каких-нибудь четыре версты. Скорее, скорее…

Они спустились в глубокую лощину, затянутую чахлым ивняком, ольхой, кустами смородины и черемухи. Во всем чувствовалась близость прииска: в стороне ходили спутанные лошади, глухо позванивая медными боталами; в одном месте, на лесной прогалинке, трава была скошена только что сегодня утром, и от нее остался зеленый след по дороге; в пыли валялись пучки не успевшей завянуть травы и уже свернувшие свои лепестки помятые цветы; деревья были вырублены, там и сям валялись кучи порыжелого прошлогоднего хворосту и зеленые ветви молодых берез. Скоро из-за редкого елового подседа глянул и самый прииск; из-за мелькавшей сетки деревьев можно было рассмотреть глубокую шахту в горе, напротив — дробильную машину, которая молола золотосодержащий кварц, затем две золотопромывательных машины, катившиеся таратайки и кучки рабочих, которые красиво пестрили общий желтый фон прииска.

— Вы подождите вдесь с полчаса, — говорила Ираида Филатьевна, подбирая поводья. — А потом и приезжайте прямо в контору…

— Хорошо-с… — смиренно отозвался Шипицын, теряя прежнюю бодрость. — Будьте спокойны-с, — прибавил он, не зная к чему.

В каких-нибудь пять минут иноходец принес Ираиду Филатьевну на другую сторону прииска и стрелой влетел на взлобочек, на котором красовалась новая контора с низкой тесовой крышей и крошечными окошечками. Рабочие с удивлением проводили глазами амазонку и отпустили несколько приличных случаю иронических замечаний…

Ираида Филатьевна, подъезжая к конторе, заметила в одном окне чье-то молодое, румяное бойкое лицо, но не могла разобрать: мальчик это или девочка. На топот лошади из людской выскочили два конюха и приняли лошадь; на крыльце конторы показался какой-то седенький старичок в потертой и порыжевшей плисовой визитке.

— Могу я видеть господина Хомутова? — спрашивала Ираида Филатьевна, инстинктивно принимая позу светской дамы.

Старичок замялся, но его вывел из затруднения молодой человек, показавшийся из ближайшей двери.

— Я сейчас их спрошу, — проговорил он, исчезая в другой двери, выходившей тоже на крыльцо.

Молодой человек не заставил себя ждать и, появившись снова на крыльце и встряхнув волосами, проговорил:

— Пожалуйте… вот сюда-с.

Комната, куда вошла Ираида Филатьевна, была убрана очень роскошно для прииска: пол был

закрыт бухарским ковром, стены оклеены новенькими обоями, у окна стояла ореховая дорогая конторка, заваленная бумагами и письменными принадлежностями; в одном углу, прикрытая легкими ширмами, стояла кровать, в другом — мраморный умывальник. Навстречу вошедшей Ираиде Филатьевне поднялся из-за письменного стола высокий, плечистый господин лет под шестьдесят, с свежим, румяным скуластым лицом, узким белым лбом, остриженными под гребенку волосами и узкими темными глазами. Вся фигура так и резала глаз своим полуазиатским происхождением, несмотря на крахмаленную сорочку в безукоризненную летнюю пару из чечунчи.

— Касаткина… — задыхаясь, проговорила Ираида Филатьевна; у ней в глазах рябило и металось пестрое пятно, которое выделялось за конторкой: это, без сомнения, была сама Настенька, одетая в малороссийский костюм.

— Очень приятно… — немного хрипло проговорил Хомутов, и, смерив амазонку с ног до головы, он прибавил, подавая стул — Чему обязан видеть вас, madame?..

— Мне нужно переговорить с вами по одному очень важному делу…

Ираида Филатьевна остановилась и показала глазами на расшитое красными и синими узорами пятно; девушка поняла этот взгляд, порывисто поднялась с места и легкой походкой вышла из комнаты, кокетливо постукивая французскими каблуками сафьянных туфель. Как сквозь туман, для Ираиды ФнЛатьевны промелькнуло миловидное характерное лицо с темными, опушенными густыми ресницами глазами, вздернутым, капризным носиком, пухлыми губками и тяжелой русой косой. Ираида Филатьевна должна была перевести дух, прежде чем могла что-нибудь сказать.

— Не хотите ли чаю? — предлагал Хомутов с вежливостью настоящего джентльмена.

— Нет, благодарю вас… — почти шепотом ответила Ираида Филатьевна, чувствуя, как все лицо ей залило яркой краской.

— Позвольте… — заговорил Хомутов, стараясь что-то припомнить. — Касаткина… Касаткина… Вы не дочь ли генерала Касаткина?

— Да.

— Ах, очень приятно, — уже совершенно развязно проговорил Хомутов, и по его толстым губам проползла чуть заметная улыбка. — Так это вы на Коковинском у французов живете?

— Да, я служу у monsieur Пажона переводчицей.

— Так-с… да. О-чень приятно… — лениво и нахально протянул Хомутов, еще раз оглядывая свою собеседницу.

Хомутов не был злым человеком по природе, но Касаткина в его глазах была просто «пажонова наложница», и, следовательно, церемониться с ней было нечего. «Видали мы этакихто генеральских дочерей на своем веку даже очень достаточно», — думал он, нахально рассматривая полную фигуру своей гостьи.

— Я приехала взять от вас Настеньку… — уже спокойно проговорила Ираида Филатьевна, сжимая одну перчатку.-

Вы, конечно, согласитесь со мной, что такой молодой девушке не совсем удобно жить на

прииске исключительно в мужском обществе…

— Вот как!.. — процедил Хомутов, не ожидавший такого оборота дела. — Для чего же вам она понадобилась?

— Это уж мое дело, и вы, как честный человек, должны согласиться со мной. Девввчка погибнет у вас…

— Так-с… Гм! Погибнет… А у вас ей веселее, что ли, будет? Вот вы, слава Богу, живете и не погибаете…

— Я… — вспыхнула Ираида Филатьевна. — Я совсем другое дело. Мне сорок лет, и я могу располагать своей судьбой, как хочу. Одним словом, это совершенно лишний разговор, и я желаю знать только одно: отпустите вы Настеньку со мной или нет?

— А позвольте узнать, госпожа, по какому вы праву можете требовать от меня Настеньку?

— Если вы хотите знать, я действую по желанию и просьбе Якова Порфирыча…

— Ха-ха-ха! — залился Хомутов, поднимая плечи. — За сколько же он продал Настеньку вашим французам?..

— Милостивый государь, вы забываетесь!.. — закричала Ираида Филатьевна, вскакивая с места, бледная, как полотно. — Я сумею заставить вас замолчать… Да!.. Вы думаете, что я — женщина, совершенно одна в вашей конторе, следовательно, со мной можно делать все, что угодно… Вы ошибаетесь и жестоко заплатите за свою дерзость!..

— Ну, ну, извините, барынька… — заговорил Хомутов, превращаясь опять в джентльмена. — Право, извините… Я ведь не злой человек. Не хотите ли лучше чайку?.. За самоварчиком и покалякали бы…

— Вы, кажется, хотите отделаться от меня шутками?

— Совсем нет… Я говорю серьезно. Видите ли, я даже хотел нарочно заехать к вам, на Коковинский, чтобы познакомиться с вами.

— Со мной?

— Да, с вами…

Хомутов проговорил последнюю фразу с такой добродушной откровенностью, что весь гнев Ираиды Филатьевны как-то сразу прошел, и она только подумала про себя: «Или этот Хомутов действительно добродушный человек, или самая тонкая бестия».

— Нет, право бы, самоварчик? Не хотите? Ну, как знаете… А с дороги оно было бы даже очень интересно, ведь тридцать верст тоже проехали, да еще верхом.

— Нет, благодарю вас. Я очень тороплюсь… Пожалуйста, не задерживайте меня!

— Вот вы опять и сердитесь?.. Я к вам ото всей души, а вы… Ну, однако, об деле-то надо говорить. Видите ли, какая штука: я вдовец, мне под шестьдесят, но я еще в силах (Хомутов повел своими могучими плечами)… Хорошо-с… Только Настенька мне все-таки не пара, да и свои сыновья подросли, пожалуй, и до греха недолго… Вы не подумайте, что я ее соблазнял или обольщал… Ни-ни!.. Сама пришла… Ей-богу! Да вот спросите ее, она сама вам расскажет.

Ну-с, так выходит, что эта самая Настенька даже мне в тягость, да и пред сыновьями совестно…

— Еще бы: вам шестьдесят, а девочке пятнадцать! Это просто варварство…

— Ах, право, как это вы круто разговариваете!.. Право, чайку бы? Ну, не буду, не буду, только не гневайтесь… Не хотите ли курить?

Ираида Филатьевна достала из кармана портсигар и закурила сигару; Хомутов молчал, подыскивая слова.

— Ну, я жду? — резко проговорила Ираида Филатьевна.

— Сейчас, сейчас… Я ведь и папашу вашего, Филата Никандрыча, очень даже хорошо знал. Он и в дому у меня бывал, да и вы тоже. Маленькой такой девочкой были. Вот я а думаю… Только вы, пожалуйста, не гневайтесь!.. Вот я и думаю: живете вы теперь на Коковинском, с этими французами… Ведь трудно вам?

— Нисколько! Пожалуйста, скорее кончайте…

— Извините, madame, вы не замужем?

— Да вам-то какое дело? Что вы меня исповедуете?

— А я к тому речь веду, что Настеньку вы от меня возьмите, пусть ее с французами поживет, а сами на Вогульский переезжайте… Ей-богу, барынька!

— Да вы с ума сошли?

— Даже нисколько… Я от души, и никаких дурных мыслей не держу в голове. Живите у меня, как сами пожелаете, и только всего. Может, и сойдемся…

— Никогда!.. Вы, во-первых, пустили Шипицына по миру со всей семьей, во-вторых, самым бессовестным образом воспользовались неопытностью пятнадцатилетней девочки, в-третьих…

— Это вам все Шипицын наврал…

— Я ему должна верить, потому что обвинение против вас налицо.

— Это вы про Настеньку-то опять?

— Да, про нее…

Хомутов быстро пошел к двери и, вернувшись, проговорил:

— Послушайте, барынька… Я не знаю, что вы хотите де: лать с Настенькой, но я… Вы мне не поверите… Да?.. Спросите ее…

Хомутов вышел… Через пять минут в комнату вошла Настенька. Ираида Филатьевна так и впилась в нее глазами. Да, это была та самая Настенька, которую она вчера полюбила и о которой промечтала целую ночь: небольшого роста, но вполне сформировавшаяся, с гибкими, крадущимися движениями, она производила с первого раза очень выгодное впечатление; а смуглое с загорелым румянцем лицо, с неправильно выгнутыми черными бровями и кошачьи-ласковым взглядом темных глаз с широким зрачком, принадлежало к тому загадочному типу

лиц, которые точно специально созданы природой для любви. «О, да это настоящий тигренок», — подумала Ираида Филатьевна, когда Настенька вопросительно и ласково смотрела на нее.

— Нам прежде необходимо познакомиться, — заговорила Ираида Филатьевна. — Надеюсь, мы полюбим друг друга, то есть, я как увидала вас, так и полюбила.

— И я тоже…

Ираида Филатьевна горячо поцеловала Настеньку, и, не выпуская ее рук из своих, она порывисто и несвязно передала цель своего приезда на Вогульский прииск. Девушка молчала, перебирая смуглой, с детскими ямочками рукой расшитый край своего передника.

— Я говорила с господином Хомутовым, — закончила свою речь Ираида Филатьевна, стараясь заглянуть в глаза Настеньки, — теперь дело за вами. Я уверена, что вы уедете со мной, то есть с вашим отцом, который ждет нас недалеко от прииска. Вам и лошадь готова.

— И папа здесь?

— Да. Если вас что-нибудь затрудняет, будьте вполне откровенны со мной… Может быть, вам тяжело расстаться с Вогульским прииском?

— А где я буду жить?

— Вы будете жить у меня, на Коковинском прииске…

— А папа?

— Про папу я ничего не знаю, как он думает устроиться…

Подумав немного, Ираида Филатьевна прибавила:

— Если вам тяжело будет расставаться с вашим папой, тогда мы устроим его на нашем прииске, подыщем ему какуюнибудь должность…

— Нет, я так сказала…

С последними словами из-под густых ресниц у Настеньки выступили две слезинки, и по лицу промелькнуло конвульсивное движение. Ираида Филатьевна обняла девушку и ласковым шепотом ее спросила:

— О чем вы плачете, голубчик?

— Так… — по-детски отвечала Настенька, потихоньку всхлипывая.

— Вам, может быть, не хочется ехать отсюда?

— Нет, хочется… только, пожалуйста, скорее…

Эта сцена была прервана чьим-то неистовым криком, который раздался на крыльце, а затем послышалась глухая возня, площадная ругань и прежний неистовый крик. Можно было отчетливо различить, как на полу крыльца упирались и барахтались чьи-то ноги, а затем тяжело, с хриплым криком, рухнуло какое-то человеческое тело. «А… подлец! Нашел я тебя… наше-ел!..» — хрипел чей-то голос, пересыпая свои слова неистовой руганью.

— Ведь это папа кричит… — в ужасе прошептала Настенька, одним движением кидаясь в двери.

Крыльцо теперь представляло такую картину: на полу лежал с окровавленным лицом Шипицын, а Хомутов, придавив его коленом, одной рукой держал за горло.

— Я тебя наше-ел, подлец! — хрипел Шипицын, начиная синеть.

— Он… хотел меня убить… — задыхавшимся голосом прошептал Хомутов, указывая на свое разорванное платье; лицо у него было исцарапано, а на носу катилась капля свежей крови.

— Господа, что же это такое! — металась Ираида Филатьевна, напрасно стараясь стащить Хомутова с Шипицына. — Разве вы не видите, что он пьян?..

— Он меня камнем хотел убить…

После долгих усилий дерущихся, наконец, разняли; Шипицын действительно едва стоял на ногах. Пока Ираида Филатьевна разговаривала с Хомутовым, он успел докончить бутылку с коньяком.

— Где у вас лошади? — спрашивала Ираида Филатьевна.

— Воронко-то убежал… — смиренно проговорил Шипицын, приходя в себя; его одежда сильно пострадала в неравной борьбе. — А я тебя все-таки убью!.. — заревел он, обращаясь к Хомутову. — Мало тебе моей крови — ты из детей моих кровь пьешь!.. Настенька…

Пьяный, обезумевший старик опять ринулся было на Хомутова, но его вовремя удержали старичок в плисовом пиджаке и давешний молодой человек.

— Мы сейчас едем, — проговорила Ираида Филатьевна, когда со стороны прииска привели сбежавшую лошадь.

V

Настенька поселилась на Коковинском прииске» Ираида Филатьевна была неузнаваема, точно она пережила вторую молодость. С утра до поздней ночи она хлопотала без устали; этот труд доставлял ей великое наслаждение, потому что все делалось для нее, для Настеньки. Толстушка переродилась разом и, стряхнув с себя гнет тяжелых воспоминаний, зажила новой, молодой жизнью, счастливой своим самоотречением. Вечная жажда любви, томившая ее, теперь, как в фокусе, сосредоточилась на Настеньке: каждый новый день приносил новое счастье — открывать новые совершенства в этой загадочной девушке. Даже роль кающейся Магдалины придавала Настеньке тысячу новых неуловимых прелестей. Ираида Филатьевна совсем забывала о себе. Часто она просыпалась по ночам, точно в комнате спал грудной ребенок, и по целым часам просиживала у постели Настеньки, не смея дохнуть; она ловила каждый вздох своего божка и часто украдкой целовала рассыпавшуюся русую девичью косу или полную детской полнотой с пояском посредине шею. Иногда от прилива тайного счастья у толстушки навертывались на глазах слезы, и она не сдерживала их, всем существом отдаваясь сладкому чувству материнской любви.

Сама Настенька едва ли понимала и сотую часть того, что творилось вокруг нее; она, как котенок, напившийся теплого молока, сладко потягивалась и позевывала, не обращая особенного внимания на куриные хлопоты толстушки и не утомляя себя заботами о будущем.

Есть такие люди, которые способны вполне «растворяться в настоящем», выражаясь языком Шопенгауэра, и мысль о будущем не оставляет на их лицах ни малейшей тени. Глядя на эту беззаботную, немного ленивую и неизменно веселую Настеньку, толстушка часто завидовала непоколебимому равновесию ее душевных сил.

— Ах, это вы…;—удивилась однажды Настенька, когда, проснувшись ночью, увидала у своей кровати Ираиду. — Как вы меня испугали!..

— Я… мне показалось, что ты неправильно дышишь… — лгала толстушка. — Не болит ли у тебя что-нибудь, моя крошка?

— Нет, я здорова…

— Может быть, тебе жестко спать?..

— Нет, напротив…

— Ведь ты мне скажешь, когда у тебя что-нибудь заболит?

— У меня никогда ничего не болит.

Этот наивный детский ответ рассмешил Ираиду Филатьевну до слез, точно на нее пахнуло из далекого прошлого собственной молодостью, не знавшей, куда деваться с своими, просившими выхода, силами.

Присутствие Настеньки сделало контору неузнаваемой: на окнах появились белые занавеси, на полу бухарский пушистый ковер, в простенке между окнами новенький ореховый гуалет со множеством ящиков и шкатулочек; подоконники были заставлены душистыми левкоями и резедой, а на ночном столике у кровати Настеньки чья-то невидимая рука каждое утро выставляла свежий букет из полевых цветов и душистой гравы. Сама Ираида Филатьевна больше не наряжалась в свою мужскую канаусовую рубаху, а щЬголяла в широких домашних платьях из какой-то пестрой летней материи. Настеньке было предложено на выбор несколько платьев, и она остановилась на самом скромном из них, сшитом из тонкой батистовки с бледным синим рисунком; когда Настенька надела в первый раз это платье, зачесала гладко волосы, выбрала самый простой гладкий воротничок и подошла здороваться к Ираиде Филатьевне, та даже немного отступила и, покачивая головой, с невольной гордостью проговорила:

— О, да у тебя есть вкус, моя крошка… да!.. Настоящая Маргарита…[8] Нет, Маргарита все-таки была немка, вялая немка, а ты походишь на… кошечку. Да?.. Знаешь, Настенька, какие у тебя глаза странные: никак не разберешь, какого они цвета… То вдруг сделаются совсем темные, то кажутся серыми, то зелеными.

— Как у кошки? — засмеялась Настенька.

Первые дни своего пребывания на Коковинском прииске Настенька совсем не показывалась из своей комнаты на крыльцо, составлявшее теперь нейтральную почву, на которой сходились все за чаем, обедали и ужинали. «Ей необходимо отдохнуть и успокоиться от своего прошлого, — думала толстушка. — Конечно, наши мужчины не много с ней наговорят, но примутся таращить глаза, оглядывать всю…» М-г Пажон несколько раз спрашивал Ираиду Филатьевну, когда она, наконец, покажет им свою кающуюся Магдалину, и при этом так гнило улыбался, что толстушка чуть-чуть не выцарапала ему глаз. Герр Шотт тоже вздыхал что-то особенно смиренно и с умилением заглядывал в глаза Ираиде Филатьевне, точно старый закормленный

кот. Один мистер Арчер оставался джентльменом по-прежнему и по-прежнему был серьезен и молчалив.

Ираида Филатьевна сильно боялась за первое появление Настеньки в этой сборной мужской компании, но дело обошлось самым счастливым образом: Настенька появилась на крыльце с скромным достоинством настоящей благовоспитанной девицы, так что мужчинам оставалось только относиться к ней с полным уважением, что и было исполнено.

— А она ничего… — заметил после Пажон.

— Как это прикажете понимать? — резко спросила Ираида Филатьевна, которая теперь начала относиться к своему сожителю очень сурово.

— Я ничего, кажется, не сказал обидного…

— Тем хуже для вас, потому что у вас это обидное вертелось на языке… Поймите же, что Настенька — такой же человек, как все другие люди, и оставьте свои пошлые мысли.

— Но я не виноват, что природа устроила мужчину и женщину несколько иначе…

— Опять глупо!.. Природа ничего не устраивала для наших пошлостей, которые придумали уж сами люди.

Настенька стала появляться на крыльце, как свой человек, и держала себя с независимой простотой, так что Ираида Филатьевна торжествовала и за нее и за себя. Победа была одержана полная, хотя Ираида Филатьевна и следила самым ревнивым взглядом за каждым движением «этих проклятых мужчин».

Старик Шипицын ради Настеньки тоже был устроен на прииске в какой-то маленькой должности при золотопромывательной машине и все время не пил, уверяя Ираиду Филатьевну, что он теперь не только не может пить, но даже «вполне презирает эту самую водку». По вечерам Шипицын иногда заглядывал в контору, но в комнату Настеньки, несмотря на вое приглашения, не входил, а становился у окошечка и тут беседовал с своей «стрелой». Эта идиллия умиляла Ираиду Филатьевну, и она даже против желания начинала верить, что старик Шипицын, может быть, и совсем бросит водку для своей Настеньки. Сила любви неизмерима и творит чудеса.

— Отчего же вы не хотите в комнату идти? — допрашивала старика Ираида Филатьевна.

— Нет-с, и без того много вам благодарны-с, — уклончиво отвечал Шипицын. — Мы свое место хорошо знаем… Не под кадриль нам с господами иностранцами компанию водить.

В хорошие дни Ираида Филатьевна уходила с Настенькой куда-нибудь в лес и была совершенно счастлива. Они бродили по лесу целые часы и возвращались на прииск с корзинкой грибов или ягод. Каждый раз они брали с собой легкий завтрак и, когда уставали, выбирали где-нибудь под елью или березой укромное местечко и отдыхали на полной свободе, не стесняясь ничьим посторонним присутствием. Странное дело, как Ираида Филатьевна ни ухаживала за Настенькой, последняя все-таки оставалась для нее каким-то сфинксом, которого никак не разгадаешь. Ираида Филатьевна до сих пор не знала даже того, что нравится или не нравится Настеньке, что она любит, чего желала бы; только в лесу эта загадочная Настенька стряхивала с себя всякую неприступность, начинала болтать без умолку, пела и дурачилась, как сумасшедшая.

— Э, да ты у меня лесная птичка! — восхищалась Ираида Филатьевна. — Любишь лес?

— Очень… Когда маленькая была, постоянно в лесу жила. Дома скука: мама вечно жаловалась и плакала, папа пьяный. Уйдешь в лес с мальчишками — весело! Я отлично на деревья лазила…

Ираида Филатьевна с жадностью хваталась за малейший обрывок таких воспоминаний Настеньки, чтобы ло ним хотя приблизительно составить себе картину развития этой брошенной на произвол судьбы девочки и затем определенно идти к цели. А цель была ясна: Настенька — богатая, непосредственная натура, лишенная даже тени какого-нибудь развития, но Ираида Филатьевна не сомневалась, что стоит только бросить семена знания на эту нетронутую почву — и произойдет чудо умственного и нравственного просветления. Даже круглое невежество Настеньки, которая едва могла читать по складам и писала без малейших признаков орфографии, — даже это невежество нравилось Ираиде Филатьевне, потому что она могла начать постройку здания с фундамента «Развить эту девушку и вывести ее на настоящую дорогу», — вот была золотая мечта Ираиды Филатьевны, и она ухватилась за нее обеими руками. План был набросан в пять минут: сначала дать время Настеньке отдохнуть и оглядеться, и в это время изучить ее характер, привычки, недостатки и склад ума; затем осторожно приступить к самому «развитию», начать, конечно, с тех заветных книжек и плохо переписанных тетрадок, над которыми пятнадцатилетняя Ирочка пережила столько счастливых часов. Да, это была блестящая идея: заветные книжки должны пробудить в Настеньке жажду знания, а там уже все пойдет, как следует.

Дальше… Первым делом, конечно, бросить прииск и переселиться куда-нибудь в глухой уездный городок, где и начать трудовую отшельническую жизнь. Да, это будет отлично, а когда Настенька станет-на собственные ноги, тогда можно будет перебраться и в Питер: пусть Настенька посмотрят на настоящую жизнь и настоящих людей. Руководствуясь опытом собственной тревожной жизни, Ираида Филатьевна хотела вперед застраховать Настеньку от возможных ошибок и заблуждений духа и плоти. Из Настеньки выработается идеальная женщина, и она, наконец, заживет той счастливой жизнью, которая для самой Ираиды Филатьевны осталась недосягаемым идеалом. Вблизи этой молодой натуры Ираида Филатьевна чувствовала себя свежее, испытывая тот прилив сил, какой дает нам только молодость; в ней смутно заговорило нравственное чувство, и она с ужасом оглянулась назад, где, как из тумана, выплывали совсем чужие для нее теперь фигуры: Белоносова, Королькова и до m-r Пажона включительно.

— Все это… грязь и обман, — шептала она побелевшими губами, хватаясь за голову.

«Никто из этих подлецов и никогда не любил меня, — с щемящей тоской думала она далее. — Разве это была жизнь? Сплошной обман и самообман. Ох, Настенька, Настенька, не знаешь ты, моя ласточка, что Господь Бог создал женщину в минуту Своего гнева!..»

Когда Настенька была достаточно подготовлена к принятию развития, Ираида Филатьевна, прежде чем приступит» к делу, пережила что-то вроде священного трепета. Нервы у ней поразвинтились за время скитаний, и теперь то, что в теории казалось так просто и ясно, «а практике волновало ее и даже нагоняло сомнения. А если она не сумеет приняться за дело?

— Настенька, а ты не думала иногда… — дрогнувшим голосом начала она свое роковое объяснение. — Одним словом, у тебя не являлось желание учиться?

Настенька с удивлением посмотрела на свою покровительницу и как-то загадочно улыбнулась.

— Меня учила читать одна старушка начетчица, — уклончиво ответила она.

— По псалтырю? Может быть, она била тебя?

— Нас пять девочек у нее училось… Всех колотила. Возьмет да козонками по голове и ударит, а то лестовкой[9] по спине отхлещет.

— Ну, я не про такое ученье говорю, моя милая. Тебе хотелось бы знать, как люди жили раньше, как они живут теперь в разных странах?.. Отчего у нас бывает тепло и холодно, зима и лето, бедные и богатые, добрые и злые? Ведь все это интересно знать… да?

— Не знаю…

— А вот, если захочешь учиться, тогда и будешь все знагь… Я сама тебя буду всему учить, хочешь?

— Хочу… А по-французскому вы будете меня учить?

— Если желаешь, и по-французскому будем учиться!..

С этого разговора и началось развитие Настеньки. Ираида Филатьевна не любила откладывать дела в долгий ящик, достала из чемодана свои книжки и тетрадки и с лихорадочным жаром принялась за работу в тот же день. Толстушка не хотела видеть, что Настенька решительно ничего не понимает и не чувствует и иногда потихоньку зевает, стараясь замаскировать себя рукавом. Ираида Филатьевна позабыла все на свете и душила свою несчастную ученицу заветными книжками далеко за полночь, а ученице эти книжки казались горше козонков и лестовки старухи начетчицы.

VI

За своей новой работой Ираида Филатьевна совсем охладела к ш-г Пажону, который только возмущал ее своей вежливостью и вообще всей накрахмаленной, молодившейся фигурой.

Дни делались заметно короче, и по вечерам в помещении господ иностранцев от трех трубок стоял дым коромыслом, чего, впрочем, сами курильщики не замечали. Пажон от скуки учил двух пуделей, за которыми Макар нарочно ездил за двести верст; мистер Арчер ходил из угла в угол, плотно сжав губы и заложив руки за спину; герр Шотт возился с своим гербарием, а когда все ложились спать, он зажигал тоненькую восковую свечку, защищаемую шелковым экраном, и потихоньку работал из разноцветной почтовой бумаги маленький очень красивый коврик. Нужно отдать справедливость трудолюбию и искусству герр а Шотта: в течение двух недель усиленной тайной работы он едва успел сделать всего один уголок красивого коврика. В это время кузина мистера Арчера, не получая обычных писем от кузена, пролила много напрасных девичьих слез; добрая девушка из своей старой Англии видела глазами любви дорогого кузена, пригвожденного на далеком Урале к одру болезни тяжким недугом… Как бы удивилась эта милая особа, если бы увидела, как в действительности крепко спал мистер Арчер самым здоровым сном и уж совсем не походил на труднобольного человека. Дело в том, что мистер Арчер был занят изучением русского языка, и ему решительно недоставало времени на письма.

Однажды, когда Ираида Филатьевна с Настенькой чистили на крыльце ягоды для какого-то варенья, мистер Арчер долго и сосредоточенно наблюдал за их работой, а потом совершенно неожиданно процедил сквозь зубы, на ломаном русском языке, комплимент красоте

Настеньки.

Ираида Филатьевна резко заметила мистеру Арчеру поанглийски:

— До настоящей минуты я считала вас, молодой человек, гораздо умнее… Разве можно говорить такие вещи молоденьким девушкам?

— Я не виноват, что мисс Анастази сегодня такая хорошенькая, — невозмутимо отвечал англичанин.

— Но вы все-таки должны себя держать джентльменом…

Занятия с Настенькой по части развития подвигались крайне туго, ученица не только не понимала умных книжек и хороших стихов, но обливалась крупным потом над первыми четырьмя действиями арифметики. Таким образом, пришлось изменить немного план развития этой дикарки и вместо умных книжек высиживать с ней арифметические задачи. Однажды, когда такой урок порядком надоел учительнице и ученице, под окнами неожиданно раздался звонкий лошадиный топот, и Настенька быстро спряталась за косяк.

— Да ведь это Хомутов?! — в ужасе прошептала Ираида Филатьевна, которой сейчас же представилось, что этот ужасный человек приехал за Настенькой.

Она выпрямилась и как-то вся надулась, как наседка, которая приготовилась защищать свой выводок от налетевшего ястреба; чёрез минуту она уже была на крыльце и встретила Хомутова очень колодным вопросом:

— Вам кого угодно, милостивый государь?

— Да я так приехал… — добродушно отозвался гигант, передавая своего тюркМенского иноходца Макару. — Об вас соскучился, Ираида Филатьевна, ей-богу!..

— А я так о вас нисколько… Однако вам кого угодно видеть? Господин Пажон на прииске, и в конторе никого нет..;

— Мне вашего Пажона и не нужно совсем, пусть его погуляет по прииску. Я собственно с вами хотел побеседовать…

— Благодарю за внимание, но мне как раз решительно некогда сейчас.

— Я подожду…

— Да что вы привязались так? Кажется, могли бы сообразить, что я не желаю совсем беседовать с вами…

Хомутов несколько мгновений вопросительно смотрел на Ираиду Филатьевну, а потом с своей добродушной улыбкой проговорил:

— Вы, барынька, думаете, что я о Насте соскучился и приехал отбивать ее у вас?

Хомутов засмеялся своим хриплым смехом и махнул рукой.

— Я не желаю знать, зачем вы приехали сюда, но на вашем месте я не сделала бы так… Понимаете?

— Почему же это?

— Вы и этого не понимаете? — с презрительной улыбкой проговорила Ираида Филатьевна. — Вы, кажется, уверены, что, имея деньги, можно дшать все и, мало этого, можно смотреть в глаза другим людям с чистой совестью…

— Это вы опять насчет Насти?

— Кажется, я довольно ясно высказалась…

Эти слова заставили Хомутова улыбнуться какой-то глупо-загадочной, безнадежно улыбкой, и он прибавил вполголоса:

— А вы спрашивали Настю, как все дело вышло?

— Я этого не желаю знать и не имею права на такие вопросы…

Хомутов помолчал с минуту и потом с какою-то больной улыбкой проговорил:

— Знаете, Ираида Филатьевна…. мне вас жаль… да! Вот вы образованная женщина и генеральского происхождения, а этого не понимаете. После попомните мои слова, да будет поздно…

— Вы напрасно трудитесь застращивать меня: я не из робкого десятка… и даже ждала с вашей стороны этого подходца.

Хомутов молча повернулся, сел на своего иноходца и уехал на прииск. -

Это посещение сильно встревожило Ираиду Филатьевну, и она со страхом ждала следующего появления Хомутова на Коковинском) прииске. Действительно, через несколько дней Хомутовский иноходец был привязан у самой конторы к столбу, а его хозяин сидел в комнате с господами иностранцами, с которыми вел беседу при помощи герр Шотта. Это нахальство и дерзость взорвали Ираиду, и она не показалась с Настенькой за обедом на крыльце. Она с ужасом слушала, как раскупоривались бутылки и вся компания начинала говорить все громче и громче.

«Сегодня же нужно уехать отсюда, — решила про себя Ираида Филатьевна. — Этот разбойник, кажется, способен на все…»

Она, вероятно, не заМедлила бы привести свою мысль в исполнение сейчас же, но этому помешало то, что путь к отступлению был отрезан: сейчас после обеда на крыльце устроился сибирский вист с винтом, сопровождавшийся обильным возлиянием. Очевидно, все было в заговоре против нее, и она металась по своей комнате, как зверь в клетке.

— Чего вы так беспокоитесь? — старалась успокоить Настенька свою учительницу. — Велика беда, поиграют, напьются и разойдутся…

— Но ведь это заговор против меня! Понимаешь: против меня… они все запляшут под дудку этого Хомутова!.. Это какие-то куклы… Чтобы я после этого осталась здесь?!. Никогда!..

— Куда же вы думаете уехать? — нерешительно спрашивала Настенька.

— А ты поедешь со мной?

— Да…

— Там увидим куда… Свет не клином сошелся, моя крошка. Давно бы следовало уехать, да все проклятая лень заедала: с насиженного места не хотелось трогаться. Э!.. Все это вздор… Мы еще с тобой поживем…

Настенька тихо засмеялась.

— Ты над чем это смеешься? — обидчиво спрашивала Ираида Филатьевна.

Девушка молча кивнула головой по направлению дверей, откуда доносился смешанный гул голосов.

Игра продолжалась до самого вечера, а когда все стихло, Ираида Филатьевна осторожно выглянула в слегка приотворенную дверь. На крыльце никого не было, и только показавшийся молодой месяц матовыми серебряными полосами играл по зеленой траве. Ираида Филатьевна вышла на крыльцо и в ужасе отступила назад: на ступеньках лестницы, где она недавно разговаривала с Шипицыным, теперь сидел сам Хомутов и смотрел на нее остановившимся, бессмысленным взглядом совсем пьяного человека.

— П-послу-ушай… — замычал Хомутов, делая напрасное усилие подняться на ноги. — Все горрит в нутре… воды испить… смерть мюя пришла…

Эта бессвязная речь разогнала весь страх Ираиды Филатьевны, и она, не давая себе отчета в своем поступке, побежала в комнату за графином воды и нашатырным) спиртом. Вся проза вытрезвления была ей известна досконально. Чтобы сразу привести в чувство Хомутова, Ираида Филатьевна в стакан с водой пустила несколько капель нашатырного спирта. Это лошадиное лекарство для этого колосса было детской игрушкой.

— Спасибо, барынька… — проговорил потом Хомутов, когда выпил два графина самюй холодной воды.

— Натирайте виски вот этим спиртом…

— Нет, не надо… Ты мне чего-то подсунула, барынька? Сразу весь хмель вышибло… А все это твой Пажон, старый петух: пристал с шартрезом, что не выпить мне одному бутылки. Ну, и выпил… Перехитрил, французский петух!.. Совсем было ослабел… да… ослабел. Отродясь не бывало этакого страму…

— А вы сегодня не ездите домой.

— Нет, не поеду… Я еще с тобой буду говорить.

— Послушайте… вы забываетесь!..

— Нет, ты теперь меня послушай, барынька… Ты меня послушай!.. Да ты меня не бойся… Скажи сейчас: «Хомутов, алемарш в воду!» Только пузырьки пойдут… Ей-богу!.. Да… Э-эх, барынька, барынька!.. Разговор-то у меня мужицкий, ну да не в этом дело… А ведь я тебя полюбил, вот те Христос. Как ты меня тогда отругала… помнишь, в моей конторе? Ну, я тебя и полюбил…

— Вам, право, теперь спать пора, а в любви мне успеете объясниться завтра, — уговаривала Ираида Филатьевна.

— Нет, ты слушай… И обругать человека не мудрено, — продолжал Хомутов в каком-то раздумье, — вон Шипицын даже искусал меня тогда… Не в этом дело!.. Да… Видишь, у Хомутова много золота, да не все золотом купишь. Так? Вот и Настя… Ну, да это другая статья совсем. Я про тебя-то хочу сказать, как ты меня тогда приняла, как наступила на меня… Хаха!.. Нет, видно, не все золотом купишь… Вот я тебя тогда за то и полюбил, потому неподкупная, гордая у тебя душа. Ты и сама себе цены не знаешь, и Настя не знает… Да! А я вот тебя насквозь вижу… Вижу, как ты меня боишься и ненавидишь. А напрасно… боишься-то напрасно!.. Хомутов — пропащая голова… верно!.. А отчего он пропадет? От силы от своей, барынька, от силы-мочи… Некуда с ней ему деться. Так-то!.. Все льнут к золоту, все тебя обманывают, ну, и расстервенишься… Теперь взять, какие наши бабы? Был я женат и еще жениться могу, а все эти наши бабы на одну колодку скроены: либо боится тебя, как мышь, либо под башмак загонит, а настоящей чести в такой бабе все-таки нет… Гонору нет, потому так она себя не чувствует, своей силы не знает. Вот я тебя и жалею, — неожиданно прибавил Хомутов, встряхивая своей головой, — задарма пропадешь, барынька.

— Это не ваша забота.

— Нет, погоди… я ведь тебя от совести жалею: теперь тебе тяжело, а впереди еще тяжельше будет… Вер-рно!.. Ты меня сторожишься, а себя не жалеешь… Беда-то не по лесу ходит, а по людям…

— Чего же мне жалеть себя?

— Сама себе беду наживешь… Твоя-то беда теперь тебе в глаза смотрит, улыбается, а…

— Вздор!..

— Ты, думаешь, Хомутов пьян, зря мелет… Нет, голубчик, у Хомутова сердце об тебе болит… да!..

— Скажите мне одно, — уже задумчиво и серьезно проговорила Ираида Филатьевна, усаживаясь на крылечко рядом с Хомутовым — зачем вы разорили Шипицына, обольстили его любимую дочь и теперь его же и ненавидите?

— С Шипицыным нас Бог рассудит… Мы тут все запутались, а теперь поди разбирай, кто прав.

— Положим даже, что вы и сами не уверены были в своей виновности, чего же стоило вам выбросить старому другу пять — десять тысяч, чтобы оградить себя от нареканий!.. Вот чего я не понимаю! Ведь вы другим помогаете же, я знаю, а Шипищына преследуете…

— Видите, барынька, прежде-то я даже и думал ему помочь, да он все со злом да с гордостью ко мне приставал. Ну, оно, это самое дело, так и затянулось… А теперь уж ему не поможешь, Шипицыну-то. Если ты скажешь одно слово, — прибавил Хомутов, — своими ручками бери и отдай Шипицыну, сколько тебе поглянется. Отворю сундук, и бери.

— Нет, вы лучше сами ему отдайте, а не для меня.

— Не могу… Шипицын-то вам рассказывал, да не все. Есть у меня старушка мать, очень древняя старушка, вот она и проклянет меня, ежели я помогу Шипицыну. Видишь, у ней с Шипицыным разговор такой вышел, крупный разговор. Надо полагать, сказал он ей, матери-то моей, что ни на есть обидное. А что он ей сказал — я неизвестен, потому родительница молчит… Мать-то мне прямо сказала: «Прошка, ежели ты хоть грош дашь Шипицыну, нет тебе моего благословения родительского во веки веков. Прокляну… А без моего благословения

погибнешь, аки червь!» Ндравная старуха, одним словом.

— Ну, а я, барынька, домой, — заговорил Хомутов, прерывая сам себя и поднимаясь с места. — Тошнехонько мне на твоих французов смотреть…

Как Ираида Филатьевна ни уговаривала Хомутова не ездить ночью, он настоял на своем и влез на выстоявшегося иноходца.

— Приезжайте как-нибудь, — проговорила Ираида Филатьевна, когда Хомутов снял шляпу, — побеседуем.

— Спасибо, барынька… Это я тебе пьяный все разболтал, а трезвому стыдно будет глаза показать. Да… А ты подумай, о чем я тебе толковал. Ежёлй круто придется, только перешли мне весточку: я всех в один узел завяжу для тебя… Слышала?..

— Нет, мне еще ни к кому не случалось обращаться за помощью…

— Гордость одолела… Ну, как знаешь… А только попомни мое слово: берегись того, кого любишь.

Хомутов стегнул нагайкой иноходца и пропал в белом густом тумане, которым был залит весь прииск; только удары лошадиных копыт о камни еще несколько мгновений нарушали мертвую тишину летней уральской ночи.

Когда Ираида Филатьевна вернулась в свою комнату, Настенька уже спала на своей кровати крепким сном. Она, очевидно, дожидалась Ираиды Филатьевны й прилегла на кровать, не раздеваясь. «Берегись того, кого любишь», — вспомнила Ираида слова Хомутова и долго и внимательно смотрела в спокойное лицо Настеньки, залитое ровным горячим румянцем. Девушка спала, слегка раскрыв свои пухлые розовые губы; ровное, спокойное дыхание едва можно было заметить, по лицу расплывалась какая-то неопределенная мысль, заставлявшая одну бровь приподниматься. Длинные пушистые ресницы бросали на закрытые глаза густую тень, так что казалось, что эти глаза смотрят, смотрят не зрачком, а как темные неясные пятна.

Странно, за несколько часов перед этим Ираида Филатьевна считала Хомутова разбойником и страшно боялась его, а теперь… теперь ей немножко было жаль его. Это было совсем особенное чувство, которое столько раз губило Ирочку. Она хорошо знала его симптомы: душу охватывала неопределенная тоска, между тем в сердце теплилось горячее желание, и глаза застилало туманом.

— Ну, Ирочка, пожалуйста, без глупостей, — проговорила она сама себе вслух, распахивая окно.

Половина неба была затянута тучей; где-то вдали глухо рокотала летняя гроза, и тянуло свежей пахучей струей. Перед грозой трава всегда сильно пахнет. Несколько звездочек весело мигали в углу окна.

VII

Хомутов действительно больше не показывался на Коковинском прииске; Ираида Филатьевна скоро позабыла о нем и его странных разговорах.

Приближалась осень. В жизни Ираиды Филатьевны это время года всегда являлось

критическим моментом, и ее всегда страшно тянуло куда-нибудь в город. Но теперь она была не одна, и ее очень заботил вопрос о будущем. Чем они будут существовать с Настенькой? Где устроятся? Не махнуть ли с последними пароходами в Питер? Последняя мысль была особенно заманчива, но Ираида Филатьевна боялась сразу окунуть свою воспитанницу в вечные сумерки столичного существования, с его голодовками и холодовками. Сама Настенька не высказывалась, куда ей хотелось бы переехать, и отвечала каждый раз уклончиво.

— Мы с тобой так сделаем пока, — предлагала Ираида Филатьевна: — возьмем у господина Пажона отпуск недели на две, съездим в соседний город. Может быть, там устроимся, а если нет, тогда махнем дальше.

Настенька ничего не имела против такого плана, и они решились выехать через три дня. Но накануне отъезда Настенька сильно прихворнула. Голова у ней была горячая, глаза мутны.

— Придется одной ехать, — решила Ираида Филатьевна. — , Медлить нельзя.

А как же я здесь одна останусь? — спрашивала Настенька. — Я боюсь.

— Глупости… Кругом порядочные люди, и никто не осмелится беспокоить мою больную девочку.

Перед самым отъездом, когда лошади уже были поданы, Настенька неожиданно расчувствовалась и расплакалась. Эти первые слезы тронули Ираиду Филатьевну, и она, целуя Настеньку, ласково ее спрашивала:

— О чем ты плачешь, моя крошка? Ведь я скоро вернусь и увезу тебя отсюда. С тобой вместо меня останется одна старушка, которая не даст тебя никому в обиду. Ну, о чш ты плачешь?

— А если вы не приедете? — сквозь слезы спрашивала Настенька.

— Вздор!.. Будь умницей и выздоравливай поскорее.

— Вы всегда так любили меня… заботились…

— О, это пустяки, моя хорошая!.. Я тебе всевда говорила, что мы все эгоисты и все на свете делаем для собственного удовольствия или выгоды. Если я тебя взяла к себе, значит, мне это было или выгодно, или приятно, следовательно, не может быть и речи о какой-нибудь благодарности.

— Скорее приезжайте, Ираида Филатьевна! Мне без вас будет очень скучно.

Настенька бросилась к ней на шею и со слезами целовала ей все лицо и шею, так что та принуждена была даже поохладить эти нежности. Загадочная Настенька притихла и как-то вся съежилась; она показалась теперь Ираиде Филатьевне такой маленькой и жалкой девочкой.

— Вы мне отвечаете за мою девочку… Понимаете?.. — проговорила Ираида Филатьевна при отъезде Пажону.

— О, будьте покойны, совершенно покойны! — уверял старик, улыбаясь слащавой неопределенной улыбкой.

— Особенно берегитесь Хомутова… — настаивала Ираида Филатьевна. — Это такой человек, который… Одним словом, вы мне отвечаете за все, что здесь случится.

В душе ее опять проснулся безотчетный страх к Хомутову, и она оставила прииск в самом тревожном настроении. Едва ли она так тревожилась бы, если бы оставляла на прииске свою родную дочь.

Ровно через неделю Ираида Филатьевна возвращалась домой и нетерпеливо ждала, когда из-за леса увидит, наконец, Коковинскую приисковую контору.

Дела были устроены, работа отыскана, но всю дорогу у Ираиды Филатьевны болело сердце. Она сама не могла отдать себе отчета в своей тревоге. То ей казалось, что Настенька опасно больна; то она видела Хомутова, который ехал на Коковинский прииск с коварной целью похитить Настеньку; то она начинала бояться тысячи тех случайностей, которые может придумать только возбужденный мозг.

Наконец дорога кончилась, с вершины последней горки Ираида Филатьевна увидела вдали знакомый низенький домик, о котором она столько думала. По наружному виду все оставалось по-прежнему, и из одной трубы весело поднималась кверху синяя струйка дыма.

Когда экипаж подъезжал к самой конторе, Ираида Филатьевна заметила, как из-за угла показалась было фигура Шипицына и быстро спряталась. Тяжелое предчувствие сдавило ее сердце. Вылезая из экипажа, она заметила голову Пажона, которая выглянула из дверей конторы и быстро спряталась. Из людской показался герр Шотт в ермолке и в старом халате; старик нес в руках что-то белое. Ираида Филатьевна заметила издали, что это были женские воротнички и манжеты. Глаза их встретились. Немец остолбенел, выпустил из рук свою ношу и, шлепая стоптанными туфлями, как пойманный школьник, побежал обратно в людскую.

— Это черт знает что такое! — проворчала Ираида Филатьевна, взбегая на крыльцо.

Она только что хотела отворить дверь в свою комнату, как ей загородила дорогу молодая горничная в накрахмаленном белом переднике.

— Нельзя-с… — бойко проговорила горничная. — Барыня почивают… Не приказано будить.

— Какая барыня? Да ты с ума сошла, моя милая… Я здесь барыня и приехала к себе домой.

— Никак нет-с… У нас барыней Настасья Яковлевна. Третьева дня свадьба была в …ском заводе.

— Какая свадьба? Что ты мелешь?..

— Барин Пажон-с женились на Настасье Яковлевне. Обыкновенная свадьба… А меня приставили к барыне горничной.

Ираида Филатьевна бессильно опустилась на стул, и у ней в голове все пошло кругом. Горничная с двусмысленной сдержанной улыбкой смотрела на нее и не оставляла дверей.

Ираида Филатьевна плохо помнила, сколько времени она просидела в этом положении; ее заставила очнуться маленькая желтая собачка, которая с чисто собачьим участием к человеческому горю ласково лизала ей руки. Откуда взялась эта собака, Бог ее знает: до этого времени Ираида Филатьевна никогда не видала ее на прииске.

— Куда? — проговорила глухо Ираида Филатьевна, когда пришла в себя. — Куда теперь?

Горничная ушла от дверей, за которыми слышался теперь шелест накрахмаленных юбок и

плеск воды. «Барыня умывается…»— подумала Ираида Филатьевна и сейчас же прибавила про себя: «А я зачем сижу здесь?»

Было часов двенадцать; солнце стояло над головой, но в его лучах уже не было летнего зноя. Дыхание наступавшей осени чувствовалось во всем: зелень на деревьях побледнела и перешла в желтые тона; трава высохла; недавний утренник прихватил несколько молодых березок, и они выделялись из остального леса яркими, лимонно-желтыми пятнами. В двухтрех местах, как облитая кровью, стояла осина.

— Зачем же обман?.. — стонала Ираида Филатьевна, хватаясь за голову. — Зачем было обманывать?

— Войдите, — послышался из-за дверей голос Настеньки.

В первую минуту Ираида Филатьевна не хотела идти в свою комнату, но потом ее страстно потянуло туда. Еще раз взглянуть на нее, на ту, за которую она готова была отдать свою жизнь.

Когда Ираида Филатьевна вошла в комнату, Настенька лениво поднялась к ней навстречу из-за туалета, пред которым поправляла свой батистовый чепчик с эльзасским бантом. На ней был надет длинный батистовый пеньюар со множеством богатых прошивок.

От объяснения с Настенькой у Ираиды Филатьевны закружилась голова и подкосились ноги: ей предложили поискать другого места. Она хотела крикнуть, но только беззвучно раскрыла рот и жалким растерянным взглядом смотрела на улыбавшуюся Настеньку. Может быть, все это сон? — мелькнуло в ее голове, и она даже провела ладонью по холодному лбу, — нет, это была сама действительность, которая жгла ей грудь и камнем давила сердце.

— А я чуть не забыла… — спохватилась Настенька, придавая своему лицу серьезное выражение. — Без вас здесь почти каждый день приезжал Хомутов и все спрашивал, когда вы приедете. Он, наверно, и сегодня будет.

— Настенька!.. — глухо застонала Ираида и выбежала из комнаты.

«Куда? Зачем?» — вертелись в голове ее вопросы, когда она очутилась на крыльце и на нее пахнуло свежим воздухом.

Лес был так же зелен, как всегда; осеннее солнце обливало золотыми волнами все кругом; где-то беззаботно чиликала безыменная лесная птичка; покоем и тишиной веяло отовсюду — той тишиной, какой природа преисполняется только осенью, как человек, который готов заснуть.

— Куда? Зачем? — уже вслух спрашивала себя Ираида

Филатьевна, бесцельно хватаясь одной рукой за дорожную сумочку.

Она упала на первый попавшийся на глаза стул и, схватившись за голову обеими руками, тихо зарыдала. Целый ряд ярких картин промелькнул в ее голове, и каждая картина раздавливала ее, как колеса катившегося по ней поезда, и тут же из глубины души, из полузабытых детских воспоминаний, неизвестно как, зачем и для чего, выплыла тихая семейная сцена… Вот Ирочке восемь лет; она лежит в свой теплой мягкой постельке и сладко спит утренним детским сном, которого никак не может разогнать старая няня Акимовна, вынянчившая еще самого генерала Касаткина. «Ирушка, вставай, голубушка, — шепчет старушечий голос, и костлявая сморщенная рука забирается под одеяло, чтобы пощекотать баловницу, — благовестят, Ирушка», — «Я сейчас, Акимовна, одну минуточку», — сладко пепчет девочка, не открывая

глаз. Опять набегает сладкий и могучий детский сон, и опять слышится старушечий голос: «Ирушка, отблаговестили!..» Чьи-то дрожащие руки любовно и осторожно натягивают чулок на детскую ногу, и маленькая Ирочка сквозь сон, точно из бог знает какой дали, слышит: «Ирушка, трезвонят... Вставай, ласточка!»—: «Акимовна, голубчик, одну секундочку...» Старушка долго смотрит на разметавшуюся девочку, качает задумчиво головой и ласково шепчет: «Ну, ин, понежься...» Но через мгновение старая Акимовна приходит в себя и каким-то испуганным голосом начинает шептать: «Ирушка, оттрезвонили! А?.. Ирушка, отблаговестили!..»

— Отблаговестили... оттрезвонили... — машинально повторяет теперь Ираида Филатьевна слова старой Акимовны, и теперь они жгут ее огнем: впереди темно, холодно, некуда больше идти...

Конский топот заставил ее поднять голову; не видя еще ничего, она уже чувствовала, что это едет Хомутов. Да, это его иноходец звонко бьет копытом землю... Первым движением ее было куда-нибудь убежать, скрыться, но она вспомнила, как давеча бежал от нее Шотт, как прятался за угол Шипицын, — и осталась на месте. А Хомутов уже входит на крыльцо в каком-то татарском азяме и издали улыбается ей. Она ненавидела его в это мгновение, ненавидела за его физическую силу, за самоуверенную улыбку...

— Ираида Филатьевна...

— Не подходите... — в ужасе шепчет она, точно стараясь что-то припомнить — Погодите, одну минуту погодите...

Хомутов остановился с протянутой рукой на воздухе...

— Послушайте, сходите к ней, — шепчет она, показывая головой на контору, — скажите ей, что я прощаю ей все... Понимаете... решительно все!.. Я уйду отсюда, только... только я хочу проститься с ней.

Хомутов нехотя вошел в контору, и Ираида Филатьевна от слова до слова слышала его разговор с Настенькой, которая нарочно громко отрезывала каждое слово. «Что еще за нежности?»— почти кричала она на Хомутова.

Когда Хомутов повернулся к двери, глухой выстрел заставил его вздрогнуть. На крыльце, корчась в предсмертной агонии, лежала Ираида Филатьевна, около нее валялся дрянной револьвер. На выстрел из всех щелей показались люди и, как всегда бывает в таких случаях, начали поднимать умиравшую.

— Отходит... — прошептал Макар, когда Ираида Филатьевна распустилась на его руках, как подстреленная птица.

Уткнувшись в угол лицом, тихо захныкал старик Шипицын; Хомутов стоял над самоубийцей растерянный и убитый.

— Эх, светлая была душа... — медленно и с расстановкой проговорил он, глубоко надвигая на свою голову широкую шляпу.

М-г Пажон, глядя на безмолвно лежавшую т-11е Иру, молодцевато покручивал усы. Мистер Арчер бесстрастно осмотрел бывшую переводчицу и ушел к себе в комнату, чтобы продолжать начатое письмо в Англию к кузине, которая не получала от него никаких известий в течение целого месяца.

[1] …все перенес, как праведный Иов. — По библейскому сказанию, Иов был счастливым человеком: он был богат, почитаем, имел семь сыновей и трех дочерей, составлявших счастливое семейство. Иов вел жизнь праведника. Этому счастью позавидовал сатана и стал говорить Богу, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью, с потерей которого он потеряет свое добронравие и превратится в богохульника. Чтобы изобличить эту ложь, Бог позволил сатане лишить невинного Иова всех благ: он обеднел, потерял детей и заболел проказой, но Иов все претерпел, не жаловался и не роптал. За это Бог исцелил его и обогатил, у него снова родилось семь сыновей и три дочери, и он счастливо прожил до глубокой старости.

[2] Канаус — шелковая ткань невысокого сорта.

[3] Красный товар (устар.) — ткани.

[4] Индийский шлем (англ.).

[5] Да, да… (немецк.)

[6] Мужик (фр.)

[7] Заводная лошадь (обл.) — запасная верховая лошадь.

[8] Маргарита — героиня драмы «Фауст» Гёте (1749–1832).

[9] Лестовка — кожаные четки у раскольников.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch